
ГЕОРГИЙ
АДАМОВИЧ



ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ



*НОВАЯ БИБЛИОТЕКА ПОЭТА*

*МАЛАЯ СЕРИЯ*

**Академический проект,**
**Издательство «Эльм»**

*ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ*

# ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

**Санкт-Петербург**
**2005**

Вступительная статья, составление,
подготовка текста и примечания
О. А. КОРОСТЕЛЕВА




ISBN 5-7331-0179-2

## «БЕЗ КРАСОК И ПОЧТИ БЕЗ СЛОВ...»

### (поэзия Георгия Адамовича)

Поэтическая карьера Адамовича с самого начала складывалась весьма успешно. По свидетельству Георгия Иванова, первая же книга Адамовича «Облака» «сразу сделала никому неведомого юного поэта "своим" в наиболее изысканном и разборчивом литературном кругу»[1]. На сборник появилось восемь одобрительных рецензий, в том числе отзывы Гумилева, Ходасевича, Жирмунского. Почти все рецензенты писали об Адамовиче как о поэте еще не установившемся, но обладающем необходимой самостоятельностью, а также хорошим вкусом (категория в акмеистской среде очень значимая). И все сошлись на том, что его поэзию следует отнести к чистой лирике. Гумилев писал об Адамовиче: «Он не любит холодного великолепия эпических образов, он ищет лирического к ним отношения»[2]. «За исключением двух или трех стихотворений, представляющих собою стихи-живопись, "Облака" всецело относятся к чистой лирике», — вторил ему другой рецензент[3]. Жирмунский добавлял к этому еще одно наблюдение: «Лирика Адамовича носит почти всегда элегический характер»[4].

Через несколько лет М. Кузмин подчеркнул эту особенность как едва ли не главную в стихах Адамовича, выгодно отличающую их от общей литературной продукции того времени. Делая обзор пореволюционной поэзии, М. Кузмин заметил, что «из десятков книг лирическое

содержание можно найти в книге Г. Адамовича "Чистилище"»[5].

Казалось, столь удачно начавший автор надолго, если не навсегда, был обречен оставаться местной знаменитостью в столичных кругах литературной аристократии. Жизнь, однако, распорядилась по-другому.

«Чистилище» вышло в 1922 году, ситуация в стране была иная, изменилось и отношение к поэзии. Почти все немногочисленные отзывы на стихи Адамовича начала двадцатых годов излишне политизированы и, будучи написаны в свойственной тому времени манере, посвящены по большей части не особенностям поэтики, а инвективам в адрес автора. Наряду с упреками в несовременности, критики постоянно подчеркивали литературность и безжизненность этих стихов. Николай Тихонов в статье о третьем альманахе Цеха поэтов заявил: «несмотря на то, что форма у них классическая по-своему <...> стихи Г. Адамовича, Оцупа и Г. Иванова бесплодны и сухи»[6]. Илья Груздев счел, что «образы и темы Георгия Адамовича насквозь литературны»[7]. Тот же упрек слышен и в отзыве Нины Берберовой: «отличительная черта Георгия Адамовича — его тщательность. В учебник стихосложения его стихи могли бы войти образцами. Не раз было говорено, что у Ахматовой много подражательниц среди поэтесс; гораздо тоньше, но и сильней, подражает Ахматовой Адамович. Строение стихотворений, темы и особенно интонации, которыми Ахматова так богата, поразительно точно переняты им, но часто звучат искусственно»[8].

Одобрительный пафос критики тех лет тоже нельзя назвать очень метким. Например, Борис Гусман в своей книге «100 поэтов» на трех страницах набросал портрет Адамовича в таком духе: «Застывшая оледеневшая душа <...> опустошенное сердце и отравленный сомнениями ум, — вот с чем пришел Георгий Адамович в мир»[9].

Роман Адамовича с советской критикой был непродолжителен и завершился вместе с его эмиграцией. После 1925 года в течение шестидесяти лет случайные упоминания самого имени Адамовича в советской печати можно пересчитать по пальцам, и о каких-либо критических оценках его поэзии в России в этот период говорить не приходится. Наиболее обстоятельной оставалась характеристика, данная в десятом томе «Истории русской литературы», где в связи с акмеизмом, «течением, выражавшим все наихудшие, наиболее декадентские черты символизма», упоминалось и о Третьем Цехе поэтов, который «имел ярко выраженный контрреволюционный характер. Его вожди — Г. Иванов и Г. Адамович — вскоре перешли в лагерь белой эмиграции»[10].

На славе Адамовича в эмиграции отзывы советских критиков никак не сказались. В Париж он прибыл с прочной репутацией «тишайшего поэта»[11], строгого мастера с негромким голосом, и на это звание здесь никто всерьез не посягал. Даже наиболее ярые противники литературной позиции Адамовича не подвергали сомнению его положение мэтра, право быть наставником молодежи, положительно отзываясь о его поэзии не только в печати, но и в частных высказываниях.

Например, Ходасевич в письме Карповичу от 3 июня 1925 года, весьма нелицеприятно говоря об Адамовиче как человеке, все же признает, что он «способностей стихотворных не лишен»[12]. Глеб Струве, более, чем кто-либо другой, имевший претензий к критической деятельности Адамовича, находил в его поэзии немало достоинств и некоторые стихотворения считал «действительно прекрасными»[13]. Альфред Бем, придерживавшийся иных воззрений на литературу, чем Глеб Струве и Ходасевич, но тоже вечный оппонент Адамовича, находил у последнего «несомненное поэтическое дарование»[14]. Даже Набоков, в

пылу острой литературной борьбы позволявший себе любые выражения в адрес противника вплоть до заведомо эпатажных, выводя в романе «Дар» пародийный портрет Адамовича под именем Христофора Мортуса, упоминает о печатавшихся им «в молодости в "Аполлоне" отличных стихах»[15]. Пожалуй, единственным исключением была резко отзывавшаяся о стихах Адамовича Марина Цветаева, но тут уже сказывалась полная несовместимость литературных и жизненных установок. Ю. Иваск верно заметил, что «если бы они неожиданно сблизились — Цветаева перестала бы быть Цветаевой, а Адамович Адамовичем»[16].

В Париже о поэзии Адамовича писали мало, слишком большое место занял он в сознании поколения как критик, эссеист и наставник молодых поэтов, наиболее острая полемика развертывалась вокруг этих областей его деятельности, собственно же поэзия оказалась отодвинута в сторону славой «первого критика эмиграции», как назвал Адамовича Бунин[17]. Усугублялось это и тем, что Адамович, регулярно публикуя свою критическую прозу, на которой сосредоточилось всеобщее внимание, не столь уж часто напоминал о себе как о поэте. Стихи его изредка появлялись в эмигрантской периодике, обязательно включались во все альманахи и антологии и воспринимались всеми как-то безоговорочно, споров не вызывали. Как позднее заметил Георгий Иванов, «обращенные к широкой аудитории образцовые статьи, заслуженно создавшие имя автору — несколько отодвигали в тень еще более замечательного "другого Адамовича" — поэта и критика поэзии, не для всех, а для немногих»[18].

Свой новый сборник стихов «На Западе» Адамович выпустил только в 1939 году, перед самой войной. На него отозвались ведущие критики эмиграции. Обостренным чувством ответственности за свои слова объясняла Зинаида Гиппиус простоту и недосказанность стихов Ада-

мовича: «как бы замирание голоса, остановку на полуфразе-полуслове. <...> Лучше недоговорить, лучше умолчать. <...> Простота бывает и своего рода изысканностью, но в этих стихах она прямо, просто (и сознательно) проста»[19].

Свой «ключ к пониманию поэзии Адамовича» предложил П. М. Бицилли. По его мнению, «всякое искусство рождается из "тревоги" и является своего рода спасением от нее посредством перехода в "иной план бытия", касания "иных миров". Но есть различные виды "тревоги" и различные способы видения "иного мира"». В отличие от метафизической тревоги Баратынского и Тютчева, в стихах Адамовича Бицилли усмотрел «тревогу совести — индивидуальной и коллективной, тревогу бл. Августина, ужас перед однажды совершившимся и непоправимым злом, <...> переживание, из которого вышла вся философия Шестова с ее постулатом, обращенным к Богу: «сделать бывшее "небывшим"». Бицилли считал, что Адамович находит в своей поэзии единственно верный выход: «выход не из жизни, а из "истории"» — в иной жизненный план «ничего не требующей, никакой награды не ждущей Любви»[20].

После войны в эмиграции при упоминании имени Адамовича в первую очередь приходила на ум его критическая деятельность, хотя, например, Н. Станюкович считал, что «вопреки общему мнению, он больше поэт, чем критик»[21]. Ему вторил Ю. Иваск, утверждая, что Адамович «прежде всего был поэт, а не критик»[22].

Ко времени выхода итогового сборника стихов «Единство» Адамович многими в эмиграции воспринимался уже не просто мэтром, а «патриархом зарубежной поэзии», как титуловал его Валерий Перелешин в своей «Поэме без предмета»[23]. Под стать этому были и критические сужде-

ния о его поэзии, — как правило, восхищенные, без каких-либо попыток анализа. Лишь Роман Гуль, говоря о нескольких стихотворениях, позволил себе «упрекнуть поэта за некую риторичность — в ущерб словомузыке. Но таких пьес мало»[24]. Аналогичный упрек высказывал позднее и Игорь Чиннов, в целом высоко оценивая поэзию своего учителя. В некоторых стихах Адамовича он находил нехарактерную для «апостола аскетизма» «добавку контрастной поэтической риторики»[25]. Ю. Терапиано отдавал должное «Адамовичу-поэту, в силу обстоятельств, при жизни в Париже, имевшему мало времени для писания стихов»[26].

Зарубежные слависты также первоначально обратили внимание на Адамовича-критика. Лишь в нескольких работах исследователи касались его поэзии[27]. Известность и даже своеобразная слава Адамовича-эссеиста и вдохновителя «парижской ноты» отвлекли внимание публики от его стихов, тем более что он не стремился что-либо делать для своей поэтической популярности, предпочитая оставаться поэтом для немногих. По крайней мере отчасти Адамович сознательно отходил в тень, уступая пальму первенства Георгию Иванову. В результате его нередко считали тем же Ивановым, но разливом пожиже. Думается, тут все сложнее, причем дело не только в разных масштабах дарования. Ю Терапиано недаром возражал Ю. Иваску, считая, что «он напрасно слишком сближает поэзию Георгия Адамовича с поэзией Георгия Иванова. Эти поэты совсем различны по существу»[28]. Сам Адамович склонен был считать так же и в письме Одоевцевой однажды заявил: «Когда-то Лозинский (помню это хорошо, на каком-то Цехе или вроде, после смерти Гум[илева]) сказал, что нет на свете людей и литераторов более различных, чем Ив[анов] и Ад[амович] — при кажу-

щейся близости. Что совершенно верно»[29]. Через вторые руки до нас дошло и мнение Гумилева на этот счет, который склонялся к этой же точке зрения. Н. Чуковский вспоминал, что Гумилев о Георгии Иванове и Адамовиче «отзывался всегда как о крупнейших, замечательнейших поэтах. По его словам, они олицетворяли внутри «Цеха» как бы две разные стихии — Георгий Иванов стихию романтическую, Георгий Адамович — стихию классическую»[30].

В эмиграции и в первой, и во второй, и в третьей волне то и дело кто-нибудь к собственному искреннему удивлению открывал заново Адамовича и изумлялся, какой это интересный поэт. Д. Бобышев, впервые прочитав большую подборку лучших стихов Адамовича в антологии Вадима Крейда «Ковчег», был потрясен, обнаружив «большого поэта»[31]. Но свой круг поклонников и почитателей у Адамовича был всегда.

## «Дети свою родословную знают, и в ней их не собьешь...»

На генеалогии поэзии Адамовича, на родословной его души следует остановиться подробнее. Мандельштам писал: «На вопрос, что хотел сказать поэт, критик может и не ответить, но на вопрос, откуда он пришел, отвечать обязан»[32]. Первые критики стихов Адамовича сочли своим долгом сделать именно это Практически каждый рецензент его первой книги «Облака» назвал имена тех поэтов, которые, по его мнению, оказали влияние на стихи Адамовича. И уже здесь обнаружилась любопытная особенность этих стихов, проявившаяся по-настоящему гораздо позднее.

Одни рецензенты усмотрели в Адамовиче типичного представителя поэтической школы «Гиперборея». В. Жир-

мунский написал, что «учителями его, по преимуществу, должны считаться Кузмин, И. Анненский и Ахматова»[33]. То, что Адамович «слишком подчинен Ахматовой и Анненскому», отметил также И. Оксенов[34]. Другие рецензенты, кроме «гиперборейства», увидели и иные основы. Ряд влияний, «почти обязательных для поэтов "Гиперборея", особенно влияние А. Ахматовой, а через нее — Иннокентия Анненского и — дальше — Верлена», — отмечал в «Облаках» и В. Ходасевич, добавляя затем: «также есть в них кое-что от Блока, кое-что от Андрея Белого»[35]. К. Липскерову тоже показалось, что в стихах Адамовича «слышится то Блок, то Белый, то Ахматова»[36].

Имя Блока было названо не всуе, в позднейшей литературе об Адамовиче оно встанет на первое место (см., например, мнения З. Гиппиус[37] или Ю. Иваска[38]). Но Блок и «гиперборейцы», казалось бы, «две вещи несовместные», особенно в те времена открытого противоборства двух направлений. И тем не менее сборник не был рядовой дилетантской эклектикой, что чувствовали и сами рецензенты. Недаром почти каждый из них, перечислив влияния, тут же считал необходимым упомянуть и о самостоятельности. «Ученик г. Адамович хороший: у него есть вкус, есть желание быть самостоятельным», — писал Ходасевич[39]. «Хорошую школу и проверенный вкус» с удовлетворением отмечал и Гумилев, прозорливо добавляя, что «иногда проглядывает своеобразие мышления, которое может вырасти в особый стиль и даже мировоззрение»[40]. «Непохожий на Ахматову по основному душевному тону, Адамович может развиться в самостоятельного и своеобразного представителя нового направления», — заключал Жирмунский[41]. Суммируя все это, В. Еникальский заявил, что «можно составить генеалогию почти каждого образа Адамовича. Среди "источников" — и Анненский, и Блок, и Кузмин, и Гумилев, и Ахматова, и т. д. вплоть до Георгия

Иванова. Однако, несмотря на все это, уже сразу, после 2—3 стихов Адамовича становится ясно, что у него есть свое лицо»[42].

Уже в этих первых рецензиях на ранние стихи были верно отмечены черты будущей зрелой поэзии Адамовича: заметное воздействие двух разных поэтик — акмеизма и символизма, ярко выраженная цитатность, и при всем внешнем эклектизме свое самостоятельное лицо, собственная поэтика, способная сплавить столь разнородные элементы в единое целое.

## Младшие акмеисты

Первый, дореволюционный этап Адамовича прошел под знаком акмеизма, уже переживавшего кризис. Самое раннее из известных нам датированных стихотворений Адамовича обозначено 1914 годом В начале того же, 1914 года Адамович «был со всем церемониалом принят обоими синдиками, Гумилевым и Городецким» в Цех поэтов[43]. Отпечаток своеобразно усвоенного акмеизма сохранился на страницах первого сборника Адамовича «Облака», а в трансформированном виде — и на последующих стихах.

О содержании понятия «акмеизм» до сих пор ведутся горячие споры[44]. Суть их сводится к тому, что некоторые авторы вообще отказывают акмеизму в праве считаться литературным направлением, признавая его новой ступенью развития символистской поэтики. Мнение это восходит ко взглядам Б. Эйхенбаума, выраженным в известной книге об Ахматовой, к высказыванию Вяч. Иванова, уверявшего Гумилева: «ничем вы от нас не отличаетесь». Похожие мысли высказывал в начале двадцатых годов и Мандельштам в ряде статей в «Русском искусстве», однако впоследствии он не пожелал переиздать эти статьи, где «все

оценки кривы и косы», заявив, по свидетельству Н. Я. Мандельштам, что «это не то»[45].

Оппоненты такой точки зрения, не отрицая расплывчатости термина «акмеизм», находят все же в поэтике его представителей достаточное единство и в то же время достаточно явные отличия от поэтики авторов, придерживавшихся иных ориентаций, чтобы считать «акмеизм» именно литературным направлением, пусть неточно сформулировавшим собственные цели, но все же их имевшим и существовавшим не только в манифестах, но и на практике. В первом мнении есть своя доля истины. Утверждение, что акмеизм был головной выдумкой Гумилева, во многом верно. Многие положения манифестов и особенно сам термин, действительно, были выдуманы наспех и не выдерживают критики. Верно и то, что положения эти далеко не всегда соблюдались Но самоопределения, манифесты, теоретические суждения и высказывания никогда полностью не соответствуют поэтической практике, и чем крупнее поэт, тем таких несоответствий больше. Символисты тоже не были так уж точны в своих определениях и точно так же далеко не всегда соблюдали собственные установления на практике

Если вожди акмеизма в юношеском задоре не сумели правильно сформулировать отличия новой школы от старой, — это еще не значит, что эти отличия были несущественны. Даже если признать задачи направлений несопоставимыми по масштабу, трудно не видеть явную разнонаправленность этих задач.

В. Гофман считал, что «всякая новая поэтическая школа отличается от предшествующей обращением к иным структурным возможностям, заложенным потенциально в слове как материале. Понятие школы есть, по-видимому, понятие, в значительнейшей мере, отрицательного единства»[46]. И действительно, все описания поэтики акмеизма

начинаются (а порой и заканчиваются) выявлением различий с символистской поэтикой. Да и мудрено было бы без этого обойтись. Мандельштам утверждал, что «не идеи, а вкусы акмеистов оказались убийственны для символизма»[47]. Но одним изменением отношения к слову дело не исчерпывается, ибо отталкивание было не только в области стилистики, но и в мировоззрении.

Символистскому «сверх-я» и перманентному горению акмеисты противопоставляли соразмерность человека миру и дискретность вдохновения, тонкую психологичность, антиутопизм. С. Аверинцев остроумно назвал акмеизм «вызовом духу времени, как духу утопии»[48]. Богоискательство было оставлено за ненадобностью, ибо у акмеистов Бог был изначально найден и находился на своем месте. Акмеисты даже родословную себе подыскали иную. ясные романские стихи вместо сумрачной германской мистики. Странствования в мирах иных превратились у Гумилева во вполне конкретные путешествия по Африке, символистская риторика — в экзотику, а напевный стих Бальмонта сменился разговорным стихом Ахматовой. Музыкальной стихии символистов акмеисты противопоставили картинность живописи и стройность архитектуры, резко обновили словарь и, наконец, ввели иной принцип словоупотребления. «Размазаная по всему тексту семантика» символистов[49] сменилась поисками полновесного слова.

Различия слишком велики, чтобы считать акмеизм только легким изменением символистского курса. Пусть многие акмеисты в юности прошли через символизм, и впоследствии поэтика их значительно трансформировалась, но по крайней мере как этап в творчестве нескольких крупных поэтов акмеизм останется в истории русской литературы, и в этом качестве термин имеет полное право на существование. Старшие акмеисты при всей значи-

тельности своей эволюции сохранили тем не менее многое из убеждений акмеистского периода.

Точно так же и Г. Иванов с Адамовичем, несмотря на эмансипацию от гумилевского влияния в эмиграции, от многих акмеистских устоев не отреклись.

Когда современные слависты (Roger Hagglund, William Tjalsma) называют младших акмеистов «третьим поколением символистов», в этом есть свой резон, так как младшие акмеисты в зрелом возрасте уже не столько отталкивались от символизма, сколько тянулись к нему, и это определение можно было бы принять, если бы оно не вносило некоторую путаницу.

Во-первых, все время придется оговаривать, что имеются в виду именно «младшие акмеисты», а не многочисленные эпигоны символистов, «обозная сволочь», по выражению Андрея Белого. А оговаривать это придется хотя бы уже потому, что разница между непосредственными эпигонами символизма и поэтами, вернувшимися к некоторым идеалам символизма после того, как они прошли акмеистский искус, — весьма велика, налицо глубокие отличия и в мировоззрении, и в стилистике.

Во-вторых, акмеистский этап в биографиях Г. Иванова и Адамовича налицо, и придумывать ему иные названия можно, но нецелесообразно. На этом этапе они считали себя, да в большой мере и были именно «младшими акмеистами». Конечно, Г. Иванов успел побывать и в эгофутуристах, но эгофутуризм не оказал значительного и устойчивого влияния на его дальнейшую поэтику, то есть был по сути эпизодом, а не этапом, так же, как кратковременное воздействие Кузмина и некоторые другие влияния.

Собственно, если говорить о «младших акмеистах» и их «символизме», то спор идет только о двух поэтах очень разной индивидуальности: Г. Иванове и Адамови-

че. И. Одоевцеву при этом всегда стараются не вспоминать, ибо ее поэзия и к акмеизму-то имеет гораздо более отдаленное отношение, а уж к символизму любого поколения — вовсе никакого. Н. Оцуп, оказавшись наиболее стойким гумилевцем из всех четверых, в эмиграции пытался основать собственную школу — «персонализм», что от символизма было тоже довольно далеко

«Акмеистов было всего шесть, и седьмого, как постоянно подчеркивала Ахматова, никогда не было»[50]. (На роль седьмого претендовал, как известно, Г. Иванов, которого Ахматова недолюбливала). Точно так же и младших акмеистов было четверо: Г. Иванов, Г Адамович, Н. Оцуп и И. Одоевцева. Пятого не было. (На роль пятого претендовал было одно время Вс. Рождественский, но неудачно Его и многих других dii minores правильнее называть поэтами акмеистской ориентации Впечатляющий список их имен приводит Р. Тименчик[51]). Каждый из четверых нашел в акмеизме что-то свое, но, при всей непохожести друг на друга и несопоставимости масштабов поэтического дара, все четверо имеют и нечто общее, отграничивающее их как от предшественников, так и от современников.

То, что почти каждый из участников очередной поэтической затеи понимает ее смысл несколько по-своему, еще не говорит о том, что сама затея является непременно мертворожденной, а самоопределение — не имеющим никакого значения. В конечном счете, «теория поэзии состоит из выводов, а не из предпосылок»[52].

Именно младшим акмеистам в эмиграции суждено было стать лидерами «парижской ноты», и новый термин был еще более расплывчатым, чем невразумительный «акмеизм». Однако и за тем, и за другим стояло некое объединяющее и одновременно отъединяющее от других групп

мировоззрение и, главное, довольно определенная поэтическая практика.

Эйхенбаум говорил об акмеистах как о завершителях модернистского движения. Думается, подлинными завершителями, окончательно замкнувшими круг, стали, повзрослев, «младшие акмеисты».

Из истории акмеизма Адамовича не вычеркнуть. И ранние стихи его без упоминания об акмеизме не объяснить. Он использовал общеакмеистские приемы в своей поэтической практике, защищал в статьях акмеистские мнения, и многие современники, даже весьма проницательные, довольно долго воспринимали его именно как «гиперборейца»[53], одного из правоверных членов Цеха поэтов, «гумилевского мальчика»[54]. Надо признать, что определенные основания у них для этого были. Вел себя Адамович в литературном быту в полном соответствии с правилами Цеха, предписанными Гумилевым: с футуристами не дружил, Бунина, как велено было, не любил, на символистов если и косился, то втихомолку.

Были и более веские основания. Жирмунский справедливо усматривал во многих стихотворениях «Облаков» «обычный для поэтов "Гиперборея" прием передачи художественного настроения точно подмеченными и четко воспроизведенными образами внешнего мира, которые делают это настроение более законченным и понятным <...> явления душевной жизни передаются не в непосредственном, песенном, музыкальном выражении, но через изображение внешних предметов. Есть четкость и строгость в сочетании слов»[55].

В одной из статей Гумилев заметил, что в двадцатом столетии «мир стал больше человека». Символисты как раз и ставили перед собой задачу стать вровень с расширившимся миром. Акмеисты в своих манифестах призывали ограничиться лишь той областью, которая подвластна

запечатлению точным словом. Наиболее отчетливо это выразилось в стихах младших акмеистов, которые, избегая высокопарных слов, и сузили мир до нужных размеров. Жирмунский считал, что «это сужение проявляется <.. > у младших "гиперборейцев" — в тесноте кругозора, в душевном обеднении, в миниатюрном игрушечном характере всех переживаний»[56]. К Адамовичу все это он относил самым непосредственным образом: «Поэтический мир Адамовича именно такой: миниатюрный, игрушечный, странно суженный и урезанный в своих размерах и очертаниях»[57].

В «Облаках» и впрямь очень тесный, комнатный мирок, вся жизнь течет преимущественно за окном. Это сразу же бросилось в глаза Блоку, которому Адамович послал свой первый сборник. В утраченном письме от 24 января 1916 года Блок высказал Адамовичу свое недовольство «комнатностью» стихов и посоветовал «раскачнуться выше на качелях жизни». Упоминания об этом сохранились в ответном письме Адамовича от 26 января 1916 года: «Я так ведь знаю, что живу в "комнате", и что никогда мне не "раскачаться", чтоб дух захватило, не выйдет и не знаю, как»[58].

Но было при этом в его стихах и нечто иное. Интуитивно Адамович ощущал величие символистского миропонимания и не хотел совершенно отказаться от попыток выразить невыразимое, к чему призывал Гумилев. Однако свое собственное, незаемное содержание Адамович упорно стремился выразить акмеистическими средствами, не желая становиться очередным эпигоном блекнущего символизма. И акмеизм в его биографии не случаен. Современная исследовательница считает основным принципом поэтики акмеизма «принцип собирательства, концентрации, сосредоточения вокруг субъекта его мира, его личного космоса. Это — принцип ассоциативных метонимических связей, сцеплений, крючков, которыми как бы соединяются

разрывы мировой ткани», а главным качеством акмеистического текста признает «установку текста на самопознание»[59]. Вряд ли этими принципами можно объяснить поэтическую практику любого из акмеистов. К поэзии Нарбута, Зенкевича, да и Гумилева, не говоря уже о Городецком, они применимы с большими оговорками. Но Адамовича привлекало в акмеизме именно это. И еще — ориентированность акмеизма на интенсивную силу слова, на остроту, заложенную уже в самом понятии[60].

## «Неоклассицизм»

Эволюция, которую проделал акмеизм к началу двадцатых годов, была столь значительна, что, по мнению Н. Богомолова, «в нем почти ничего не осталось от акмеизма десятых годов»[61]. По выражению современника, «неоклассицизм вылупился из скорлупы акмеизма»[62]. В эти годы и Адамович «руководится идеей "классического искусства"»[63].

Неоклассическая фаза акмеизма до сих пор остается самым неисследованным периодом его истории и нуждается в более пристальном изучении. Обычно вспоминают о нем лишь в ходе не утихающего спора о противоборстве классического и романтического начал в искусстве. Необходимо предварительно оговориться, что «неоклассицизм» Цеха поэтов в большей степени был полемическим самоопределением, чем действительно продуманной поэтикой; тем более речь не может идти о практическом следовании этой поэтике. С подлинным историческим классицизмом «неоклассицизм» имел не много общего. Тем не менее, термин был широко распространен в то время как среди поэтов, так и среди литературоведов[64]. Правда, каждый из авторов вкладывал в этот термин свое содержание.

О причинах появления на свет «неоклассицизма» именно в это время можно говорить много Главной из них была естественная реакция на заумный язык футуристов. Мандельштам даже попытался сформулировать закон, утверждая, что «революция в искусстве неизбежно приводит к классицизму»[65]. Вряд ли обошлось и без воздействия популярных в те годы на Западе, особенно во Франции, разговоров о «новом классицизме», о классическом художественном мировоззрении. Члены Цеха поэтов, всегда внимательно следившие за западными литературами, особенно за французской, на которой были воспитаны, чутко улавливали все близкие им по духу веяния. Но и тут о прямом заимствовании говорить не приходится.

Если что и сближало неоклассицизм первой четверти XX века с французским классицизмом XVII столетия, то не схожесть в поэтике, а общая охранительная функция, стремление противостоять разрушительным, как они их понимали, тенденциям в литературе. Как французский классицизм «послужил художественным и эстетическим противовесом необузданным силам барокко, его безмерности»[66], так и русский неоклассицизм начала двадцатых годов сознавал себя в первую очередь противовесом безудержности футуризма и других многочисленных в то время групп, разрушающих установившиеся каноны стиха. Классическое наследие противопоставлялось погоне за новизной во что бы то ни стало. Не случайно содержание понятия определялось прежде всего в отталкивании. Это был принципиальный отказ от неконтролируемого потока слов, пусть даже очень вдохновенного, что считалось веянием романтическим. Именно на этом основании Мандельштам делал вывод о том, что «русский футуризм гораздо ближе к романтизму»[67]. Реакцией на такой романтизм и была попытка защитить поэзию строгими рамками «неоклассицизма».

«Пафосом новой поэзии должна быть ликвидация романтизма», — заявлял Адамович, добавляя тут же: «В наши дни Маяковский, человек даровитый, есть недосягаемый и непревзойденный образец того, чем *не* должен быть поэт»[68]. Как не надо писать стихи, — определялось вполне отчетливо, положительная программа формулировалась куда туманнее: «Обрисовываются вдалеке линии искусства, которое должно было бы быть завтрашним: его не легко определить несколькими словами, но достаточно сказать, что его тональностью является пресыщение шумом и пестротой XIX века и начала XX века, реакция против романтизма, понятого по-французски, и в поэзии обратный перелет к тем берегам, на которых последним удержался Андрей Шенье. Люди, знакомые с развитием форм поэзии, поймут, какие теоретические требования выдвигает этот "неоклассицизм"»[69].

Члены Цеха даже не сразу договорились, что из классики считать образцом. Первое время в этом качестве фигурировали и Расин, и французские парнасцы, и античная трагедия. И лишь позже за идеал было принято творчество Пушкина. Впоследствии Адамович написал, что в те годы Пушкин символизировал «метод, отношение к творчеству, анти-позу»[70]. К. Мочульский уже прямо говорил о неоклассицизме как «пушкинизме в современной поэзии»[71]. Эти устремления сказались и на стихах. Вадим Крейд находит, что периоду «неоклассицизма» в творчестве Мандельштама, Ахматовой и Георгия Иванова соответствует большее, чем до того, количество условно-поэтических эпитетов, лексически близких пушкинскому словарю[72]. Рецензент альманаха «Дракон» счел, что и в стихах Адамовича этой поры «слишком явно слышатся перепевы из Пушкина»[73].

Многие программные положения акмеизма перешли неизменными в «неоклассицизм», и в первую очередь те,

что связываются с понятием «меры», соразмерности всех частей и уровней стихотворения. Члены третьего Цеха поэтов были убеждены в том, что прогресса в искусстве нет и быть не может, и формула стихотворения Георгия Иванова «Меняется прическа и костюм ..» очень напоминает манифест:

И черни, требующей новизны,
Он говорит «Нет новизны. Есть мера
А вы мне отвратительно смешны,
Как варвар, критикующий Гомера!»

Другим краеугольным принципом «неоклассицизма» стало общее для акмеистов убеждение в том, что «слово должно значить то, что значит». Положение это в различных вариациях можно найти и в ранних манифестах Гумилева и Городецкого, и в статьях Мандельштама и Адамовича начала 1920-х годов[74].

После смерти Гумилева Адамович становится ведущим критиком и одним из главных идеологов Цеха поэтов, отстаивая в своих статьях этого периода «неоклассические» настроения: «В живом стихотворении первоначальная, хаотическая музыка всегда прояснена до беллетристики Воля поэта поднимает музыку до рассказа»[75]. С изрядной категоричностью он заявлял даже, что «все запомнившиеся людям, удержавшиеся в их памяти стихи, так наз. классические, бесспорно прекрасные, все могут быть пересказаны, переведены на другой язык, изложены прозаически, не превращаясь в бессмыслицу, т. е. имеют ясно выраженный смысловой стержень, содержание. Нет никаких оснований думать, что закон, действительный для двух тысячелетий, вдруг в последние годы потерял значение»[76]. Здесь отчетливо ощутим полемический пафос, направленный прежде всего против футуристской зауми и символистских темнот. Подобные заявления не приходит-

ся, конечно, принимать безоговорочно всерьез, но основное убеждение, избавленное от крайностей, осталось неизменным до конца: первый, внешний план стиха должен быть понятен или, во всяком случае, должен наличествовать, слово в стихе должно оставаться словом значащим, а не служить только инструментом для передачи непроясненной музыки либо материалом для лингвистических упражнений.

С появлением на литературной арене «неоклассицизма» произошло окончательное разграничение двух линий, двух разнородных направлений в акмеизме, который недаром уже при своем рождении имел два названия: гумилевский акмеизм и провозглашенный Городецким адамизм, то есть поэтический взгляд «нового Адама», который, «сняв наслоения тысячелетних культур», может «опять назвать имена мира»[77]. Этот адамизм, представленный именами Нарбута, Зенкевича и, отчасти, самого Городецкого, сразу значительно отличался от парнасски ориентированного акмеизма. Именно это и вызвало недоумение критики, тут же заявившей, что под знаменем акмеизма объединились поэты слишком разные, не сводимые к единой поэтике. Неудивительно, что ни один из адамистов не присоединился ни ко второму, ни к третьему Цеху поэтов. Попытки «бунта» предпринимались и раньше, еще в 1913 году Нарбут подбивал Зенкевича выйти из группы акмеистов и основать собственную, из двух человек, или примкнуть к кубофутуристам, чей антиэстетизм Нарбуту был гораздо больше по душе, чем «тонкое эстетство Мандельштама». Любопытно, что и при этом всплывало имя Пушкина, отношение к которому и определило в конце концов расхождение: «Поистине, отчего не плюнуть на Пушкина? Во-первых, он — адски-скучен, неинтересен и заимствовать (в отношении сырого матерьяла) от него — нечего, во-вторых, отжил свой век»[78].

В определенном смысле можно было бы сказать, что «неоклассицизм» Цеха поэтов был акмеизмом, очищенным от адамизма. Но различия этим не исчерпывались. Сказывалась, кроме того, и неудовлетворенность узкими рамками самого акмеизма, как он был преподнесен в манифестах. Бывшие акмеисты искали возможностей расширить масштабы, горизонты поэзии, при одновременном устрожении формальных приемов. Научившись использовать интенсивную силу слова, они хотели применить свое умение на задачах, которые акмеизм перед собой не ставил, считая невыполнимыми.

То требующее воплощения содержание, которое мучило Адамовича с ранних лет, он теперь пытается выразить на более широком материале. Если в «Облаках» он пользовался преимущественно акмеистическими средствами, то теперь в ход пущен весь арсенал мировой литературы. Стих Адамовича в этот период становится строже и самостоятельнее. Характерные для акмеистов дольники вытесняются более классическими размерами, появляются сонеты, стилизации.

В «Чистилище» мир расширился, хотя и не слишком значительно, — от размеров комнаты до масштабов библиотеки. Книга пестрит звучными именами и названиями, мифологическими, литературными, историческими: Венера и Орфей, Гудруна и Саломея, князь Игорь и царевич Дмитрий, а также Троя, Версаль, Афины и вовсе уж экзотические Манчжурия или Ниагара. Ни в одном другом сборнике стихов Адамовича такого обилия имен нет. Возможно, тут сказался пример Мандельштама. Некоторые стихи Адамовича этого периода отдаленно напоминают мандельштамовское воспроизведение культурных эпох.

Свое знакомство с русской и мировой поэзией Адамович начал с конца, как это чаще всего и происходит, то есть с ее последних достижений — русского и француз-

ского декадентства — и был покорен в первую очередь ими. Все его мироощущение в юности определялось именно этой поэзией, и первые пробы пера также шли в русле этих «последних веяний».

Затем он по-настоящему прочувствовал мир поэзии классической, найдя в ней немало достоинств. Вот в этот-то период и выступает на арену понятие «неоклассицизма», под которым подразумевалась не только учеба у классиков, но еще и продолжение их дела, поддержание статуса поэзии на должном уровне, отказ свести ее только к игре и развлечениям.

## «Парижская нота»

Третий и последний, зрелый этап в самосознании и лирике Адамовича почти совпадает с периодом эмиграции. Недостаточность «неоклассицизма», смутно ощущаемая всегда, стала все больше осознаваться поэтом. В 1924 году, размышляя о Брюсове, он написал: «Пороком брюсовского творчества навсегда осталось несоответствие его огромного чисто-словесного дарования его скудным замыслам, помесь блестящего стихотворца со средней руки журналистом»[79] «Серебряный век» русской поэзии из эмигрантского далека начал восприниматься во всей его сложности и величии, и Адамович все чаще принялся обращать свои взоры к символизму, к его грандиозным целям. Первые два-три года после прибытия в Париж в статьях его еще мелькают по инерции упоминания о «неоклассицизме», но потом они плавно сходят на нет.

Происходит и переоценка французской литературы. Если раньше во всех статьях альманахов Цеха поэтов декларировалась учеба у Запада, то теперь, оказавшись «лицом к лицу с тем, что книги эти питает», Адамович вынужден был заявить о французской поэзии, что «по-

эзии русской — если не склонна она отречься от самой себя, — у нее почти нечему учиться, отчасти потому, что культурный возраст наш другой, отчасти по причинам внутренним»[80].

Но самым значительным и наиболее заметным со стороны изменением было освобождение Адамовича от гумилевского влияния. Полного взаимопонимания у Адамовича с Гумилевым не было никогда, даже в самые первые годы посещения Цеха. Адамович был слишком самостоятельным, чтобы разделять все утверждения вождя акмеистов. Но внешние правила литературной игры он соблюдал и сомнения высказывал чаще вслух, чем на бумаге.

В 1920 году Адамович писал Гумилеву из Новоржева о давней «привычке вести с Вами полуоппозиционные разговоры < ..>. Меня чуть отпугивает только Ваше желание всех подравнять и всех сгладить, Ваш поэтический социализм к младшим современникам, — но даже тут я головой понимаю, что так и надо, и что нечего носиться с «индивидуальностью» и никому в сущности она не нужна. Хорошая общая школа и общий для всех "большой стиль" много нужнее»[81].

Характерна оговорка: «головой понимаю». Сердцем, стало быть, не принимал. Гораздо позднее он назвал «гумилевскую, цеховую выучку, очень наивной, если говорить о сущности поэзии, очень полезной, если ограничиться областью ремесла». И добавил о Блоке: «с акмеизмом и цехом в багаже, мы все-таки чувствовали, что не Гумилев — наш учитель и вожатый, а он»[82].

На четвертом году эмиграции Адамович сформулировал один из законов литературного созревания так: «Понимание необходимости для литературы быть лично-одухотворенной дается как намек, как проблеск человеку в начале его "пути", затем при развитии в человеке ума и

вкуса, исчезает и только много позже, к концу, к "закату" целиком и во всей полноте возвращается. <...> В конце концов неизбежно приходит сознание, что все суета сует, все напрасно, тщетно и просто-напросто глупо, если ко второму не прибавить чего-то из первого и не утвердить за этим первым вечного и неоспоримого главенства»[83]. И хотя, формулируя это, от «заката» Адамович был еще очень далек (ему исполнилось всего 35 лет), это было сказано и о себе.

В 1925 году Адамович знакомится с З. Гиппиус, и это можно считать начальной точкой отсчета, одним из побудительных толчков к пересмотру литературной, а в чем-то и жизненной позиции.

Влияние Гиппиус на Адамовича не стоит преувеличивать. Оно не было столь безоговорочным, как влияние Гумилева, с которым можно было спорить, но нельзя было не подчиняться и не соблюдать условий литературных баталий, если уж находишься в том лагере, где он, Гумилев, генерал. Скорее это выразилось в установлении общих интересов, а для Адамовича еще и в востребовании тех граней духовной жизни, которым в Цехе не уделялось должного внимания.

Более того, влияние с самого начала было обоюдным, и на стихах сказалось в усвоении друг у друга некоторых манер и словечек, в отдельных перекличках, как когда-то было у Адамовича с собратьями по Цеху поэтов. На какое-то время их устремления совпали, обнаружилось немало общего в литературных воззрениях и стихотворной практике. Отголоски споров Адамовича и Гиппиус, частично запечатленные в их переписке, можно найти в статьях и стихах обоих поэтов-критиков.

Окончательно эмансипировавшись в эмиграции от гумилевского влияния, Адамович отказался и от настойчиво выдвигавшейся Цехом поэтов идеи мастерства как глав-

ной духовной ценности. Любопытно, что ему, бывшему члену Цеха, довелось в эмиграции выступать против этой идеи, ревностно защищаемой Ходасевичем и Набоковым, которые всегда относились к Цеху скептически, не приемля коллективизм в любой форме.

Гиппиус очень высоко оценивала стихи Адамовича, особенно когда пускалась в полную откровенность[84]: «Ваши стихи мне близки, некоторые даже завидны»; «Если б мне вздумалось кого-нибудь "в гроб сходя, благословлять" — то именно вас»[85]. Определяя, чем именно привлекли ее стихи Адамовича, Гиппиус писала 14 февраля 1928 года: «Есть два рода стихов; два разных рода. С одним из них дело не в "нравлении", а в "пронзении" <...> Я не знаю, как бы еще пояснить это "пронзение", — заметьте, я претендую, что это свойство "*самих стихов*" <...> ваши стихи принадлежат именно к этому роду "пронзения"»[86].

В то же время некоторые черты у Адамовича она принять не могла, всячески пытаясь наставить его на путь истинный. Убедившись, что Адамович в своих заблуждениях упорствует, она махнула рукой и отступилась. Гиппиус смущало кое-что в стихах Адамовича «с их свойствами декаденто-цинико-утонченности, заранее предрешающей безвыходность — главное — упивающейся этой безвыходностью. Упоение это и решает все»[87].

Гиппиус не нравилось безволие. В христианском аскетизме она не терпела прежде всего не смирение, а именно «блаженность безволия». Гиппиус ждала, что Адамович пойдет дальше вслед за «обещанным», начнет собирать всю свою волю для этого, а ему ближе оказалась эта самая «блаженность безволия».

Упоение и впрямь было. Адепты «парижской ноты» дорожили этим блаженным состоянием души при полном сознании безнадежности, упивались отчаянием, обреченностью и стремились воплотить в своем творчестве именно

этот сложный комплекс «последних» чувств и настроений человека, оставшегося наедине с вечностью, с жизнью и смертью. Страстности, активизма в их стихах и не предполагалось, стихи должны были произноситься как бы случайно, сами собой, без усилия, в этом виделась их главная прелесть и главный яд, от которого трудно отделаться. Это проявлялось не только в стихах, но и в модусе жизни. 1 марта 1953 года Адамович писал Лидии Червинской: «По моему глубокому, глубочайшему убеждению в любовном отчаянии есть тоже крупица блаженства»[88].

Адамович много расспрашивал Гиппиус о символизме, горя желанием узнать, что открывалось Блоку и Белому в их видениях, тускнеющих на бумаге, и даже ей, свидетельнице зарождения символизма, отказался поверить, что ничего не было, оставшись при своем мнении. Он был убежден: «что-то действительно мелькнуло», были какие-то «леденящие, сулящие короткое головокружительное блаженство, эфирные струйки <...> которыми никто прежде не дышал». Без этого «символизм <..> глуп и смешон»[89]. Он был уверен, что нужно только дослушаться до этой музыки, и тогда появляется шанс сказать «самое главное». Условия, в которых оказалась эмигрантская поэзия, он считал наиболее подходящими для выполнения этой задачи: безвоздушное пространство чужой страны, одиночество, ощущение себя человеком, стоящим на берегу океана, в котором исчез материк.

Авторство термина «парижская нота» обычно приписывается Поплавскому. В статьях Адамовича это понятие впервые появляется в начале 1927 года[90]. Что стояло за этими словами, было ли это литературной школой, направлением, кружком единомышленников, обо всем этом до сих пор нет единого мнения, тем более что вдохновитель «парижской ноты» высказывался о ней в разные

годы по-разному. Может быть, наиболее точно определил ее Юрий Иваск, сказав, что это была «лирическая атмосфера», в которой писались стихи, а заслуга Адамовича в том, что «сумел создать литературную атмосферу для зарубежной поэзии»[91].

Цель ставилась вполне определенная: «доделать то, что сделать не удалось, без отступничества и уж, конечно, без сладковатого хлороформа»[92]. Стихи должны были преобразить мир, на меньшее Адамович был не согласен. Идея преображающего творчества — идея самая что ни на есть символистская, точнее, младосимволистская, владевшая Блоком, Белым, Вяч. Ивановым, которые вслед за Вл. Соловьевым рассматривали творчество как служение высшему, надмирному началу.

У Адамовича — с его скептицизмом — все несколько скромнее, уже нет убежденности, сомнение даже преобладает, но всегда брезжит робкий лучик надежды — «а вдруг?» В 1929 году Адамович писал о Блоке: «После попытки хотя бы заклинанием изменить все окружающее, он признал свое поражение и сказал об этом честно, просто и смертельно грустно»[93]. Адамович не оставлял подобных попыток, уже зная о поражении и заведомо обрекая себя на неудачу. Но без этих попыток творчество теряло свой смысл. Кроме же призрачного лучика надежды на чудо, рассчитывать больше было не на что. Творчество, по Адамовичу, преображает если не внешний мир, так по крайней мере душу творящего, пусть ненадолго, но дает ему заглянуть за пределы дольнего мира или хотя бы напоминает о существовании миров иных. Для этого, однако, необходима полная искренность, и в первую очередь с самим собой.

Адамович и раньше готов был повторить за своим учителем Анненским: «Вместо скучных гипербол, которыми в старой поэзии условно передавались сложные и

нередко выдуманные чувства, новая поэзия ищет точных символов для *ощущений*, т. е. реального субстрата жизни, и для *настроений*, т. е. той формы жизни, которая более всего роднит людей между собой, входя в психологию толпы с таким же правом, как в индивидуальную психологию <...> Мир, освященный нравственным и тонким самоанализом поэта, не может не быть страшен, но он не будет мне отвратителен, ибо он — *я*»[94].

Теперь личностное начало окончательно выходит на первый план. Острая боязнь сфальшивить психологически, отдавшись напеву, написать не то, что есть, а то, что хотелось бы, запечатлеть не реальные переживания, не подлинные порывы человеческой души, а лишь вольные фантазии на эту тему или собственное умиление ими, неприятие даже малейшей доли неоправданного прекраснодушия заставляли Адамовича тщательно взвешивать и выверять каждое слово. В канон «парижской ноты» это вошло первой заповедью. Адамович скорее готов был простить некоторую неуклюжесть стиха, в котором выражалось подлинное чувство, чем неискренность

Он видел две опасности, уводящие с этого, по его мнению, единственно верного пути: стремление отдаться на волю волн, на волю вдохновенного, но безответственного потока слов, напевности и мечтательности, не поверяемой подлинным поэтическим видением и не сдерживаемой трезвым знанием о человеческой природе. И другая опасность: старательное сочинение стихов, тщательная их отделка, внешнее совершенство, игра словами, за которой легко было спрятать отсутствие подлинных переживаний.

Подводя итоги, Адамович сказал, что «парижская нота» взялась за невыполнимые задачи, которые обязана была взять на себя эмигрантская литература, и добавил: «А отчасти это и наследие русского символизма, в том, что не было им досказано. Отцы, может быть, и отреклись бы от

детей, но дети свою родословную знают и в ней их не собьешь»[95]

## «Одно, единое виденье...»

Основополагающий принцип стихов Адамовича — выразительный аскетизм Аскетизм во всем — в выборе тем, размеров, в синтаксисе, словаре. Сознательный отказ от украшений, от полета, вплоть до обеднения, до неуклюжести, до шепота Все остальные возможности отклонялись, как слишком легкие, либо ненужные, во всяком случае, неуместные в его личной поэтике: «...ощущаю как измену Иных поэзий торжество» («Стихам своим я знаю цену...»). Такая аскетическая сдержанность, очищенность, «апофатизм» приводили к стихам прозрачным, графичным, черно-белым.

В своем «апофатизме» Адамович был не одинок, отчасти это была общая для акмеистов черта, своеобразный протест против «инфляции священных слов»[96] у символистов. Но Адамович пошел в этом направлении дальше всех, дальше Мандельштама, ставя своим идеалом стихи «без красок и почти без слов».

Размышляя над особенностями лирической поэзии, Ю. М. Лотман заметил, что любой «поэтический сюжет претендует быть не повествованием об одном каком-либо событии, рядовом в числе многих, а рассказом о Событии — главном и единственном, о сущности лирического мира»[97]. Адамович стремился всю свою поэзию и каждое стихотворение в отдельности превратить именно в рассказ о «главном и единственном Событии», безжалостно отбрасывая все, что к этому Событию впрямую не относилось.

Такой подход не мог не отразиться на тематике его стихов. Собственно, основная тема была одна:

Одно, единое виденье,
Как месяц из-за облаков

(«Стихам своим я знаю цену »)

Именно о нем и писал Адамович всю жизнь, его пытался воплотить в стихах. Отношения человека с этим виденьем и есть его тема. Редкие мгновения, когда брезжило что-то впереди, он и считал единственно достойными для запечатления в рифмованных строчках. Все остальное в жизни — лишь фон, скука, грусть, тоска по несбыточному.

Сиянье, свет появляются в стихах Адамовича как намек, как свидетельство о чем-то большем. Скука — ожидание иного, в то время как сияние — переход, а подчас и само обещание.

Благословенны будьте вечера,
Когда с последними строками чтенья
Все, все твердит — «пора, мой друг, пора»,
Но втайне обещает продолженье.

(«Нет, в юности не все ты разгадал...»)

Никакой уверенности в исполнении этого обещания у Адамовича не было, более того, с годами надежда все слабела. И тогда вступал в силу комплекс, который Ю. Щеглов, говоря об Ахматовой, назвал «поэтикой обезболивания»[98]. Адамович принимал судьбу и весь мир такими, каковы они есть, не делая ни малейших попыток изменить что-либо. По его мнению, обещанного нельзя приблизить никакими усилиями социального характера, да и не надо этого делать, искусственный рай его не привлекал. Обещанного можно было лишь дождаться, надеясь на чудо преображения, и, разумеется, без всяких гарантий. Адамович был готов принять любой результат. Но надеяться не переставал и во всяком случае не изменял свое

поведение. В этом была особая гордость: не определять поведение результатом, делать то, что следовало делать, не рассчитывая на непременную выгоду; по сути дела, это было выполнением паскалевского пари, но с чуть иными психологическими мотивировками.

В статье «Серебряный век русской поэзии» Николай Оцуп, говоря об Адамовиче, сформулировал основное отличие искусства серебряного века от искусства века золотого. По его мнению, люди и в том, и в другом веке одинаковы. Последних «стихия делает великими... Художнику серебряного века не помогает стихия. Но организация человека все та же, и без союзника иррационального он все же делает свое дело. Героизм серебряного века в этом и состоит И что-то в созданиях его художников, несмотря на неизбежную бледность, даже лучше искусства золотого. Там слишком уж все полногласно, слишком переливается через край. Здесь — мера человеческих сил. Все суше, беднее, чище, но и, более дорогой ценой купленное, ближе к автору, более — в человеческий рост»[99].

А пока, в ожидании возможного чуда, оставалось лишь находить положительные стороны в нынешнем состоянии либо постараться заговорить себе зубы, отвлечься хотя бы чисто механическим, бессмысленным действием, наконец, ощутить блаженство в самой безнадежности. Еще один способ вынести земное существование — тот, о котором говорил П. Бицилли[100], — состоит в любви к миру и человеку, любви во что бы то ни стало. К убогому дольнему миру нужно относиться с нежностью и жалостью, ибо он очень хрупок и призрачен. Тут сама собой напрашивается параллель с Анненским, о котором Вяч. Иванов как-то заметил: «“трогательное” ставил он в своей эстетике выше прекрасного»[101]. Анненский и впрямь «всех пожалел», по выражению Ахматовой. Адамович верно рассмотрел «за полированными створками “Кипарисового

ларца" <. .> складки все той же шинели Акакия Акакиевича»[102] и не захотел от них отказаться, несмотря на все свое эстетство. Его собственные «жалость» и «нежность» имеют тот же источник Недаром Мандельштам предлагал Адамовичу поставить эпиграфом ко всему его творчеству строки: «Пускай скудеет в жилах кровь, Но в сердце не скудеет нежность»[103].

## «Начало и конец всякого мастерства»

Одним из канонов «парижской ноты» Адамович провозгласил «экономию средств», которую он называл «началом и концом всякого мастерства»[104]. И здесь он был весьма безжалостен: «Образ можно отбросить, значит, его надо отбросить. Образ по существу не окончателен, не абсолютен Если поэзию нельзя сделать из материала элементарного, из «да» и «нет», из «белого» и «черного», из «стола» и «стула», без каких-либо украшений, то Бог с ней, обойдемся без поэзии! Виньетки и картинки, пусть и поданные на новейший сюрреалистический лад, нам не нужны!»[105].

Жесткую экономию средств Адамович неуклонно поощрял у молодых парижских поэтов и сам стремился писать, «отказавшись от всего, от чего отказаться можно, оставшись лишь с тем, без чего нельзя было бы дышать. Отбрасывая все словесные украшения, обдавая их серной кислотой»[106]. Прежде всего это был отказ от метафор, ярких образов, изощренной инструментовки, вообще от стихов, в которых «настойчивая выразительность заменяет истинную человечность»[107].

Адамович разделял убеждение Потебни в том, что «умственное стремление человека удовлетворяется не образом самим по себе, а идеею, т. е. совокупностью мыслей, пробуждаемых образом и относимых к нему как к источ-

нику»[108]. Суть стихотворения он видел не в образах, а в том, что открывается за ними. Образы — лишь одно из средств для создания представления, цель же — добиться определенного настроения у человека, читающего стихотворение. При этом образы могут иметь место или отсутствовать, это не существенно и ничего не прибавляет к ценности произведения, важно лишь, насколько точно передается настроение· «Если поэту "есть что сказать", если ему доступно вдохновение, то он инстинктивно ищет слов, наименее способных отвлечь внимание от целого, от той "сущности", которая разлита во всем стихотворении, а не цепляется за отдельные его части. Он не боится метафор и эффектов — они просто не нужны ему. С высот того, что виделось ему в минуты замысла, все это — мишура и ничтожество»[109].

Адамович полагал наиболее действенным образом не тот, который содержится в стихотворении, а тот, который создается в душе читающего это стихотворение. При этом яркие метафоры, красочные образы будут лишь отвлекать внимание, рассеивать его, заслонять то, ради чего стихотворение создается. С догадкой Анненского о том, что «самое *страшное* и *властное* слово, т. е. самое *загадочное*, — может быть именно слово *будничное*»[110], Адамович согласился бы полностью. Он считал, что «все большие, значительные поэты прошли одним и тем же стилистическим путем: от условно-поэтического словаря к полному прозаизму речи <...> к пренебрежению языковыми украшениями, в конце концов к суровой честности языка»[111].

У Адамовича более высок удельный вес каждого слова, по сравнению со словом у символистов. (Говоря о поэтике символизма, мы не учитываем индивидуальные, подчас весьма существенные отклонения от канона; речь идет прежде всего о том, как она воспринималась большинством современников и в том числе Адамовичем).

Стихотворение символистов должно было «навеять» определенное настроение — мелодией стиха, его ритмом, звуковой инструментовкой (недаром символисты придавали такое значение скрытому смыслу, передаваемому звуками, — едва ли не большее, чем смыслу слов). На семантику слова внимания обращалось гораздо меньше, она была не столь уж существенна, — слово подбиралось как намек, не по основному значению, а по какому-либо одному из второстепенных, вызывающих боковые ассоциации, и легко могло быть заменено другим, столь же необязательным, лишь бы оно вписывалось в общий эмоциональный фон стихотворения и удачно ложилось на ритмическую основу. Значение могло расплываться, частично распространяясь на другие слова и образуя единую ткань стихотворения с малосущественным общим значением, основная задача которого — указывать на первоисточник, на некий тайный смысл, создавать представление.

Адамович в зрелых стихах также стремился к тому, чтобы стихотворением переориентировать сознание читателя. Функция «навевания» сменилась у него функцией «пронзения», то есть он стремился не к околдовыванию ритмом, но к прояснению внутренней «музыки», настраивающей душу на должный лад. Обе функции, несмотря на все различия, выполняли транзитивную роль, то есть текст стихотворения не был самоцелью, но должен был служить промежуточным звеном для передачи некоего высшего смысла, в самом стихотворении еще не заключающегося.

Задача усложнялась тем, что Адамович непременно хотел, чтобы стихотворение имело смысл и само по себе, как текст, причем смысл, приближенный к искомому, и только то, что невозможно передать значением слов, должно было выражаться самим строем стиха. Более того, каждое слово должно было быть семантически полно-

ценным, со всеми оттенками его смысла, а не использоваться лишь как намек Именно потому выбор его гораздо более труден, и заменить его другим нелегко. В идеале Адамович стремился к словам, которые заменить было бы вообще невозможно.

Требование семантически полноценного слова отчасти было реакцией на игру со словом и разрыв с логикой у европейских, прежде всего французских поэтов-авангардистов. По мнению Адамовича, поэзия в Европе, уже отказавшаяся к XX веку от надежд и веры, «вероятно именно поэтому легко отбросила логический ход речи <...> ей при этом не приходилось отбрасывать что-либо другое, бесконечно более существенное, чем тот или иной литературный прием»[112]. У русской поэзии еще сохранялась по крайней мере надежда.

При всем том Адамович признавал, что в памяти от стихов «остается не смысл слов, а тембр голоса»[113]. И здесь крылось одно из основных противоречий в его взглядах на поэзию. Если остается не смысл, а тембр, то зачем столь старательно искать точные слова, не достаточно ли ограничиться точным тембром? Была ли это просто прихоть или невыветрившаяся причуда акмеизма? Или, как полагала З. Гиппиус, ответственность? Вероятно, присутствовали все эти моменты. Вряд ли Адамович пытался сам себе объяснить, зачем он этого требует, но упорно стоял на своем: «Поэтические образы подчиняются тем же законам, что и прозаическая речь. Они могут иметь какие угодно "вторые", углубленные и неуловимые значения. Но прежде всего образ должен быть "забронирован" от обвинений в абсурдности. Слово прежде всего должно значить то, что оно действительно значит, а не то, чем поэту хочется его значение заменить. Торжество поэзии над "здравым смыслом" должно быть таинственно и от "непосвященных" скрыто. Иначе оно слишком дешево»[114].

Еще одна грань этого же противоречия — заведомая невозможность найти точные слова для «невыразимого». Здесь Адамович целиком разделял замечание Анненского о том, что «есть реальности, которые, по-видимому, лучше вовсе не определять»[115]. Он и сам считал· «Ясности нашей есть предел. Но дойдя до этого предела, надо речь оборвать, надо иметь мужество умолкнуть. Сказав все, что было в его силах, поэт должен отказаться от соблазняющей его лжи, хотя бы вследствие этого отказа поэзия оказалась бы внешне обедненной»[116].

Гораздо честнее Адамовичу казалось признаться прямо в стихах о невыразимости, чем давать точные дефиниции тому, что по природе своей не может быть определено и выражено в точном слове: «Лучше намек на истину, чем точность в заблуждении»[117]. Вполне допускались обороты вроде: «Какой-то невидимый свет, Какое-то легкое пламя, Которому имени нет», в то время как «лучезарные осиянности» отвергались категорически. Это было, по мнению Адамовича, украшением, причем украшением натужным и подлинной человеческой психологии не свойственным, так человек не мог бы сказать, оставшись наедине с самим собой. А стихи Адамовича предназначались прежде всего для того, чтобы человек бормотал их самому себе.

То, что обращение к этим темам заведомо обрекает поэзию на неопределенность, Адамович прекрасно сознавал: «Лермонтову по природе совершенство недоступно. Какие слова нашел бы он для "звуков небес"? Нет этих слов на человеческом языке. "Где-то", "что-то", "когда-то", "когда-нибудь"»[118].

Выходом из создавшегося противоречия стала особая форма выражения мысли, ярче проявившаяся в критических статьях, но и в стихах Адамовича дававшая о себе знать. Он не стал пытаться определять невыразимое, а нашел другой прием: говорить «вокруг» него, все время

приближаясь к нему с разных сторон и умолкая в нужном месте, не переходя границы, наполняя смыслом пропуски каких-то звеньев логической цепи.

Адамович высоко ценил такое умение у других поэтов. И не только потому, что «скучно слушать речь излишне обстоятельную»[119]. Лермонтов восхищал его едва ли не более всего тем, что у него «есть паузы, есть молчание, которое выразительнее всего, что он в силах был бы сказать»[120]. В собственной поэтической практике Адамовича недоговоренности играли большую роль. Да и для всех поэтов «парижской ноты» их присутствие стало одним из неписаных правил.

Сам Адамович усматривал в этом не прием, а настоятельную необходимость: «Недоговоренность может быть искусственным приемом. Тогда ей невелика цена. Но она бывает неизбежной, потому что есть вещи, которые сложнее и тоньше человеческого языка. Не только внутреннее целомудрие, но и стилистическое чутье подсказывает необходимость некоторой сдержанности и даже условности на языке, ставит предел индивидуальной языковой разнузданности. О всех действительно "великих" книгах можно сказать, что в них есть подводное течение. Есть не только слова, но и молчание. В словах не все уместилось. Отблеск оставшегося "за словами" заливает всю книгу»[121].

В своем стремлении избавиться от метафор и прочих украшений Адамович подчас бывал даже излишне категоричен: «Что это за поэзия, которая опасается, как бы что-нибудь, Боже упаси, не повредило ее поэтичности! Все, что в поэзии может быть уничтожено, должно быть уничтожено: ценно лишь то, что уцелеет»[122]. Так старательно «стирая случайные черты», немудрено было смахнуть ненароком и что-нибудь из неслучайного. Юрий Иваск справедливо полагал, что Адамович «сам себе мешал писать: не хотел быть одержимым стихией стиха, чтобы не со-

лгать, чтобы не быть обманутым какими-то бессмысленными мечтаниями»[123].

Опасность «чистого листа бумаги» Адамович отлично понимал и посвятил этой теме немало страниц своих «Комментариев», но причины видел несколько иные. Главной из них ему казалась не столько боязнь фальши, сколько стремление к «единственно нужному»: «Стоит только писателю возжаждать "вещей последних", как литература <...> начнет разрываться, таять, испепеляться, истончаться и превратится в ничто <...> Человек ищет настоящих слов, ненавидя обольщения, отказываясь от них неумолимо-логическими отказами. И вот, наконец, он у желанной цели, он счастлив, он у центра. Но центр есть точка, отрицание пространства, в нем можно только задохнуться и умолкнуть»[124].

Понимая все это, он, тем не менее, твердо стоял на своем. Слишком высокие требования предъявлял он к поэзии, слишком много ждал от нее, чтобы допустить по отношению к ней любого рода легкомыслие. Он считал, что «поэзия не должна быть мечтой, капризом, сновидением, прихотью, экзотической фантазией, словесной игрой — иначе ей грош цена»[125].

Воззрения Адамовича на сущность поэзии были весьма своеобразными и даже его соратниками нередко признавались странными[126]. Он считал, что поэзия существует, «чтобы служить великому человеческому делу: одухотворению бытия, тому торжеству духа, которое может быть и свершится в далеких грядущих веках»[127]. С крайним максимализмом Адамович утверждал, что стихи должны быть «ответом на все». От поэтов (и от себя в том числе) он требовал невозможного: «найти слова, которые как будто никогда еще не были произнесены и никогда уже не будут заменены другими»[128]. По свидетельству Игоря Чиннова, «Адамовичу хотелось, чтобы поэзия стремилась

вверх, как готический шпиль, истончилась бы до высокого сияющего острия — чтобы свершилось мировое чудо, а затем пусть, как молния, поэзия исчезнет <...> Стихов, в которых это стремление стать острием, вонзающимся в небо, ослаблено орнаментом, он не признавал. "лучше останемся без стихов"»[129]. Ю. Иваск был прав, утверждая, что здесь «Адамович продолжает по-своему идеологию символистов ("все или ничего", мессианизм, достоевщина)»[130].

Свою положительную поэтическую программу, свой идеал Адамович изложил в «Комментариях», в известном определении поэзии: «Какие должны быть стихи? Чтобы, как аэроплан, тянулись, тянулись по земле, и вдруг взлетали... если и не высоко, то со всей тяжестью груза. Чтобы все было понятно, и только в щели смысла врывался пронизывающий трансцендентальный ветерок Чтобы каждое слово значило то, что значит, а все вместе двоилось Чтобы входило, как игла, и не видно было раны. Чтобы нечего было добавить, некуда было уйти, чтобы "ах!", чтобы "зачем ты меня оставил?", и вообще, чтобы человек как будто пил горький, черный, ледяной напиток, "последний ключ", от которого он уже не оторвется»[131].

Почти полную невозможность достичь этого идеала Адамович хорошо понимал (потому, отчасти, количество написанных им стихов невелико), однако на меньшее был не согласен, по крайней мере, в теории, обрекая себя на сокращение числа тем и сведение к минимуму средств выражения. Перефразируя изречение Мандельштама: «Дух отказа, проникающий поэзию Анненского, питается сознанием невозможности трагедии в современном русском искусстве»[132], — можно было бы сказать, что дух отказа, проникающий поэзию Адамовича, питался сознанием невозможности поэзии.

На практике Адамовичу не всегда удавалось буквально следовать всем своим заповедям, иногда «желание вый-

ти за пределы аскетической поэзии перебарывало»[133]. Но все его «лучшие стихи к этой предельной простоте стремятся, ядро адамовичевской поэзии, в принципе, аскетическое, сознательно обедненное и, принципиально, уже незаменимое в своей окончательной, как бы подвижнической очищенности от всего "неокончательного", необязательного, декоративного»[134].

То, что в лучших своих стихах Адамович цели достигал, отметили, не сговариваясь, многие из его современников. Стихи «пронзали». Игорь Чиннов, вряд ли зная о характеристике, данной стихам Адамовича Зинаидой Гиппиус в частном письме, использует, однако, те же эпитеты· «щемяще, пронзительно, незабываемо»[135].

Рецензируя сборник стихов «На Западе», Гиппиус обратила особое внимание на то, как эти стихи воздействуют на читателя: «Что такое стихотворная магия? Откуда она берется? Ни музыкальность (ох, уж эта музыкальность!), ни одушевление, ни тонкая мысль — ее еще не создают. Она в неожиданно счастливом сочетании слов, когда сами слова, в отдельном значении гаснут, тают, отступают, обнажая то, что за ними И это "за ними" дает читающему известный душевный толчок, т. е. действует как настоящее магическое заклинание»[136].

Аналогичное ощущение, каждый по-своему, выразили и другие читатели: «некоторые стихотворения напоминают химические формулы — названы и дозированы элементы, реакция должна произойти уже в сознании читателя»[137]; «Стихи Адамовича будят мысль, незаметно очаровывают и глухо звенят где-то на самом "дне сознанья"»[138].

## «Корабль сколочен из чужих досок, но у него своя стать»

В ранних юношеских стихах первого сборника многие приемы, мотивы и образы предшественников еще не совсем органично вошли в ткань стиха, и это бросается в глаза. Ахматовские интонации, отдельные мотивы и лексические обороты Анненского или Блока порой «торчат» из стиха, не впитанные им полностью. Но что это именно новая поэтика, у рецензентов сомнения не было. Впоследствии Гиппиус имела полное право заявить о его зрелых стихах: «Адамович абсолютно свободен от подражательности, но параллелям его поэзия не чужда»[139].

Параллелям поэзия Адамовича и впрямь не чужда. В стихах его нетрудно найти переклички, ассоциации, реминисценции со многими членами Цеха поэтов, и исследователи акмеистской поэзии (Н. Богомолов, В. Крейд) в своих работах приводили примеры то схожих интонаций, то совпадающего рисунка стиха, что вовсе не свидетельствует о каком-то неумении и тем более плагиате. Такие, выражаясь языком В. Жирмунского, «синтетические переработки»[140] в двадцатом веке были свойственны не одному Адамовичу. Цитатна была в изрядной мере поэзия многих акмеистов — Георгия Иванова[141], Ахматовой[142]. О Мандельштаме же, воссоздающем «архитектонику культур»[143], Б. Эйхенбаум верно сказал, что в его стихах даже «собственные слова звучат непривычно-торжественно — как цитаты»[144]. Цитатна, хотя и в меньшей степени, поэзия других членов Цеха. Мандельштам центонность считал даже чем-то обязательным для современного поэта· «Во время расцвета мишурного российского символизма и даже до его начала Иннокентий Анненский уже являл пример того, чем должен быть органически поэт: весь корабль сколочен из чужих досок, но у него своя стать»[145].

Анализируя стихи членов Цеха поэтов, даже не всегда можно установить с исчерпывающей точностью, кто именно когда у кого брал и кто на кого влиял. Дело, кажется, вообще не во влиянии. «Параллелизм между стихами акмеистов, совпадения, скрытые и явные цитаты, намеки на известное стихотворение, иногда пародия или диалог с другим поэтом-акмеистом, — все эти приемы не так уж редки в творчестве членов Цеха поэтов», — пишет В. Крейд, объясняя это тем, что «акмеизм был поэтической школой в наиболее полном значении этого слова»[146]. Думается, объяснение не только в этом. Если бы заимствования ограничивались только рамками Цеха, это было бы всего лишь игрой, характерной для литературного кружка. У акмеистов это было чем-то большим, нежели просто игра.

Об истоках акмеистской центонности можно строить разные предположения. Можно вспомнить, что центонна была поэзия Теофиля Готье, объявленная одним из четырех краеугольных камней, на которых Гумилев намеревался воздвигнуть здание акмеизма[147]. Вполне убедительно и объяснение Мандельштама, назвавшего акмеизм «тоской по мировой культуре». При стремлении вобрать в стих всю вселенную и создать завершенное произведение трудно пройти мимо уже созданного. Р. Тименчик считал, что «в конечном пределе поэзия акмеистов тяготеет к анонимной чужой речи. Это неоднократно декларировалось учителем акмеистов Анненским, видимо, не без влияния известных рассуждений Шопенгауэра о том, что истинный стих от века заключен в языке»[148].

Адамович разделял мнение, что мир языка един, однажды найденные слова звучат вечно, и им уже не надо искать замену, достаточно произнести их, и вспышка в сознании произошла, гигантский ряд образов и смыслов пришел в движение, можно идти дальше, открывая и создавая новые смыслы.

Как большинство акмеистов, Адамович просто-напросто не считал удачно найденные слова чужими. Сказанное кем-то — сказано для всех, открыто для всех, и каждый может этим воспользоваться, а задача поэта — находить столь точные выражения, чтобы они казались единственно возможными, незаменимыми.

Мнение это восходило к ранним убеждениям акмеистов в том, что язык в общем адекватен не только внешнему миру, но и миру чувств, хотя гораздо скуднее, беднее в оттенках, не все сразу можно выразить в словах, но в общих чертах имеется принципиальное совпадение. (Сыграло свою роль и отталкивание от символистских претензий пользоваться только словами высокого стиля, а также противостояние футуристскому устремлению в заумь ) По мнению акмеистов, удачно найденная фраза заполняет пустоту и уменьшает разрыв между наличным миром и возможностями языка. Поэтому неудивительны в стихах Адамовича переклички не только с Георгием Ивановым или Ахматовой, но и с авторами, ничего общего с Цехом не имеющими, например, с Буниным или З. Гиппиус

В ранних стихах Адамовича ощутима некоторая неуклюжесть, литературность при использовании цитат. Прямые цитаты, используемые мотивы, целые темы слишком уж хрестоматийны, и обвинения рецензентов в книжности выглядят справедливыми. Позднее цитата войдет в плоть стиха неназванной, без акцентирования внимания на ней. Да и сам характер цитирования изменится, прямые упоминания сменятся глубинными ассоциациями, вплавленными органично в ткань стиха, что позволит П. Бицилли утверждать в рецензии на книгу Адамовича «На Западе». «Почти все стихотворения, вошедшие сюда, можно назвать вместе "философским диалогом", в духе петрарковских: беседа души со сродными душами — невзирая на все различия индивидуальностей, моментов, стилей. Эта "диа-

логичность" стихов Г Адамовича проявляется всегда в согласии с формой и замыслом, на самые разнообразные лады. То это прямые, хотя и отрывочные цитаты из Пушкина, Лермонтова, то использование чужих образов, звучаний, речевого строя, причем иногда так, что в одном стихотворении осуществляется *со-гласие* двух или нескольких голосов»[149].

## «Кто поверит словам, которым не совсем верю я сам?»

Не темы объединяли поэтов, которых Адамович считал своими учителями Скорее наоборот, тематически они стояли особняком в литературных течениях, к которым примыкали. По верному замечанию современного исследователя, «характерных для русского символизма тем у Анненского не было вообще — мистико-религиозной и космической»[150]. То же самое Ю. Тынянов писал об Ахматовой. «Когда Ахматова начинала, она было нова и ценна не своими темами. Почти все ее темы были "запрещенными" у акмеистов»[151]. Зато все они близки между собой изощренным психологизмом лирики, стремлением передать в стихе тончайшие переживания, настроения, и, главное, предельной искренностью. Именно искренностью, правдивостью отличаются все кумиры Адамовича, как поэты, так и прозаики: Блок, Анненский, Ахматова, Л. Толстой. Едва ли не больше всего остального ценил Адамович неприятие фальши, даже в минимальной дозе. Свою первую в жизни рецензию он начал словами: «Если наших поэтов еще не разлюбили, то им уже, конечно, перестали верить»[152], и приводил Ахматову, как редкое исключение. Это неприятие фальши и стало одним из краеугольных камней «парижской ноты» Об искренности, как одной из главных составляющих лирики, Адамович не ус-

тавал напоминать всю жизнь. Одна из его последних статей, «Поэзия в эмиграции», завершалась тем же риторическим вопросом. «кто поверит словам, которым не совсем верю я сам?»[153]. И требование точных слов было у него в первую очередь требованием слов искренних. В этом не было ничего особенно нового, еще Буало считал, что «лирика сильна лишь чувством неподдельным». Но после бури и натиска авангардной поэзии начала века, периода исканий, «бездарной погони за обновлением формы»[154], Адамович считал необходимым напомнить о забытой истине.

По мнению Адамовича, «все можно выдумывать, но только не человеческую психологию». И Лев Толстой для него велик, кроме всего прочего, еще и тем, что он психологию «не выдумывает, а находит»[155].

Задача лирики — воссоздавать психологические состояния либо напрямую, либо отталкиваясь от предметов внешнего мира, которые в этом случае служат лишь фоном и сами эмоционально окрашиваются, получая часть эмоционального заряда эпитета. Адамовича интересовала прежде всего «внутренняя речь», только еще зарождающаяся, почти не оформившаяся в слова, та «музыка», которую иногда улавливает душа поэта, поднимаясь над обыденным состоянием.

Стих Адамовича, лишенный напевности, с неброскими рифмами, позволял, тем не менее, передавать нюансы эмоциональных состояний интонацией. Если в лирике Бальмонта «интонация тесно связана с повторениями звуков и внутренними рифмами»[156], то у Адамовича она гораздо меньше определялась фонетикой. Жирмунский считал, что подобная манера интонирования «зависит прежде всего от смысла слов, точнее — от общей смысловой окраски, а следовательно — от художественно-психологического задания»[157]. Адамович ставил себе задачей воплотить в сло-

ве в каждом конкретном случае ту единственную интонацию, которая отразит именно это движение души.

М. Волошин как-то раз дал характеристики поэтическим голосам своих современников. Так, он утверждал, что общая интонация И. Анненского — «академически торжественный, накрахмаленный баритон, который вдруг переходит в мастерское почти клоунское звукоподражание и кончает неожиданно простым жутким усталым "вполголоса", захватывающим своей обнаженной человеческой искренностью»[158]. У Ахматовой Эйхенбаум выделял разговорную, повествовательную интонацию, сменяющуюся торжественной, витийственной. Голос Адамовича очень тих, это даже не «вполголоса», а просто шепот, пронзительный, обреченный, а общая интонация — сосредоточенно-ожидающая, медитативная Гумилев в рецензии на первый сборник Адамовича заметил· «Звук дребезжащей струны — лучшее, что есть в поэзии Адамовича и самое самостоятельное»[159]. Этот звук дребезжащей струны остался у него навсегда.

Гумилев говорил о «коротком дыхании» Ахматовой. У Адамовича оно еще короче. Его стихи буквально испещрены точками и многоточиями. Разрывы между опорными словами еще более увеличились, и эти пробелы, провалы в стихе ничем не заполняются, ибо предназначены для заполнения читательским сознанием. Плавность и напев ослаблены, дыханье словно затруднено. И дело здесь не в enjambements (у Ахматовой как раз нередко присутствующих); переносить часть предложения в другую строку просто не требуется, настолько эти предложения коротки.

Скачки от одного к другому очень резки. Автор как будто спорит с самим собой, то и дело сам себя перебивая. Это уже даже не разговорный язык, а скорее обрывки мыслей, бормотанье себе под нос, полушепот, неупорядоченный до конца поток сознания, только еще начинаю-

щий воплощаться в речь Слово как будто всякий раз приходит в последний момент, после того, как были сказаны предыдущие. Стихотворение произносится каждый раз так, как будто заново рождается сейчас, здесь, в процессе бормотания. Только в этом смысле можно говорить о настоящем времени в стихах: оно настает всякий раз, когда читается стихотворение. Это не уловленный и затем описанный миг, это мгновенье именно воплощенное, точнее, воплощаемое, лирика в первоначальном смысле слова.

П. Бицилли в своей рецензии остроумно охарактеризовал этот тип поэзии как «придаточные предложения без главных»[160].

Лирическая тема решается в диалоге, в столкновении двух точек зрения, в мучительных сомнениях. Это либо два спорящих голоса, либо возражения самому себе, но в обоих случаях движение мысли рождается в этих сомнениях и колебаниях.

Если всмотреться пристальнее в этот второй голос, то обнаруживается, что источник его определить не так уж просто Если у Ахматовой «постоянные обращения ко второму лицу делают присутствие рядом с героиней других лиц, связанных с нею теми или другими отношениями, очень ощутимым»[161], то у Адамовича такие стихи — скорее редкое исключение. Жирмунский считал даже, что у Ахматовой «мужской образ, впечатление мужской красоты изображены до полной зрительной ясности»[162]. Во всяком случае, адресат стихов Ахматовой, «ты», к которому она обращается, вполне определен: это либо сам объект любви, либо посредник (часто читатель), которому поверяется история отношений. Адресат Адамовича далеко не так ясен: это обращение не то к собеседнику, о котором ничего не известно, не то к самому себе. Вполне определен и лирический герой Ахматовой — он приближен к автору настолько, что Эйхенбаум уверял: из стихов Ахма-

товой «мы знаем ее наружность, ее одежду, ее движения, жесты, походку. Мы постепенно узнаем ее прошлое < . > знаем места, где она жила и живет < ..> знаем, наконец, ее дом, ее комнаты»[163]. Ничего подобного нельзя было бы вынести из стихов Адамовича. Никаких мелких деталей, особенностей частной жизни нет и в помине. Не всегда можно даже определить, откуда, из чьих уст исходит авторский голос. Образа автора, авторского «я» как определенного центра организации текста зачастую нет. И это неслучайно.

Последовательно очищая стихи от всего, что можно было выбросить, Адамович исключил оттуда не только посторонние персонажи, но и тщательно избавился от авторских черт частного человека. Образ автора исчез из стихов почти полностью, слившись с лирическим героем и одновременно с читателем Неважно, к читателю, к собеседнику или к самому себе обращается автор то в третьем, то во втором лице. Любое «я», равно как любое «ты» и «он» обращены одинаково к себе самому, к собеседнику, к любому человеку вообще, они равновелики и обозначают просто человека на том его уровне, когда различия между людьми становятся несущественны. Такое стихотворение, с его вдобавок ко всему разговорной интонацией, начинает походить на медитативное упражнение и предназначается не кому-то конкретно, а всем, то есть любому, кто захочет и сумеет им воспользоваться. Читатель сам поневоле становится действующим лицом, лирическим героем и отчасти автором этих стихов, ибо их нельзя читать, не переживая одновременно их содержания.

***

В поэзии Адамовича шло дооформление процессов, общих для литературы рубежа веков. психологизация ли-

рики, идущая вслед за достижениями психологической прозы XIX века, та «зависть к прозе, которая охватила поэтов»[164], дальнейшее трезвение слова (после символистской глоссолалии, после упоения словом у Гумилева и Мандельштама). В эмиграции он попытался синтетически объединить в своем творчестве лучшие достижения двух ведущих поэтических систем начала века — акмеизма и символизма, что обусловило одновременно и достоинства его поэзии, и слабости ее.

Адамовича иногда упрекали в отсутствии новых идей. Но еще в 1922 году Мандельштам, пусть и полушутя, сказал: «Литературные школы живут не идеями, а вкусами, принести с собой целый ворох новых идей, но не принести новых вкусов значит не сделать новой школы, а лишь основать поэтику. Наоборот, можно создать школу одними только вкусами, без всяких идей»[165]. «Парижская нота» была создана Адамовичем по рецепту своего бывшего соратника и стала последней значительной литературной школой не только в эмиграции, но и во всей русской поэзии XX века.

Вспоминая в конце жизни о «парижской ноте», Адамович сказал, что больше всего в те годы хотелось «все "самое важное" из прошлого как бы собрать в комок и бросить в будущее»[166].

В каком-то плане это было попыткой осмыслить пути и судьбы русской поэзии серебряного века, а также выводом из всех ее свершений, послесловием к ней.

*Олег Коростелёв*

## Примечания

[1] *Иванов Георгий.* Третий Рим. Художественная проза. Статьи. Tenafly, 1987. С. 304.

[2] *Гумилев Н.* Письмо о русской поэзии // Аполлон. 1916. № 1. С. 26.

[3] Северные записки. 1916. № 2. С. 229. Подп.: Р. Д.

[4] Биржевые ведомости. 1916. 14 октября. № 15861. С. 5.

[5] *Кузмин М.* Парнасские заросли // Завтра: Литературно-критический сборник. I. Берлин, 1923. С. 119.

[6] *Тихонов Н.* Граненые стеклышки: о третьем альманахе Цеха Поэтов // Жизнь искусства. 1922. 23 мая. № 20 С. 4.

[7] Книга и революция. 1922. № 7. С. 59.

[8] Современные записки. 1924. № 19 С. 432.

[9] *Гусман Б.* 100 поэтов: Литературные портреты. Тверь, 1922 (на титуле — 1923). С. 5.

[10] История русской литературы. М.; Л.: Наука, 1954. Т. 10. С. 724, 777—778.

[11] Звено. 1923. 26 ноября. № 43. С. 3.

[12] Oxford Slavonic Papers. 1986. Vol. XIX. P. 144.

[13] *Струве Г.* Русская литература в изгнании. Париж, 1984. С. 320.

[14] *Бем А.* Письма о литературе: Культ Пушкина и колеблющие треножник // Руль. 1931. 18 июня. № 3208. С. 2.

[15] *Набоков В.* Собрание сочинений в четырех томах. М.: Правда, 1990. Т. 3. С. 151.

[16] *Иваск Ю.* Разговоры с Адамовичем (1958—1971) // Новый журнал 1979. № 134. С. 92.

[17] Литературное наследство. Т. 84. Кн. I. М.: Наука, 1973. С. 679.

[18] *Иванов Георгий.* Третий Рим. Художественная проза. Статьи Tenafly, 1987. С. 322.

[19] Последние новости. 1939. 9 марта. № 6555 С. 3. Подп.: Антон Крайний

[20] Современные записки. 1939. № 69. С. 383—384.

[21] Возрождение. 1955. № 48. С. 139—140.

[22] *Иваск Ю.* Собеседник: Памяти Георгия Викторовича Адамовича // Новый журнал. 1972. № 106. С. 286.

[23] *Перелешин В.* Поэма без предмета. Холиок, 1989. С. 71.

[24] Новый журнал. 1967. № 89. С. 278—279.

[25] *Чиннов И.* Вспоминая Адамовича // Новый журнал. 1972. № 109. С 140.

[26] Русская мысль. 1972. 15 июня. № 2899. С. 9.

[27] *Tjalsma William.* The Petersburg Modernists and the Tradition // Антология петербургской поэзии эпохи акмеизма. Munich, 1973. P. 7—26; *Tjalsma William.* Acmeism, Adamovic, the «Parisian Note» and Anatolij Steiger // Russian Language Journal. Supplementary issue. (East Lancing, Michigan) 1975 P 92—105; *Smith G. S.* The versification of Russian Emigre Poetry 1920-1940 // The Slavonic and East European Review. 1978. Vol. 56. № 1. P. 52—66; *Hagglund Roger.* A vision of Unity: The Poetry of Georgij Adamovic // Slavic and East European Journal. 1981. Vol. XXV. № 1. P. 39—51; *Hagglund Roger.* A vision of Unity: Adamovic in Exile. Ann Arbor: Ardis, 1985.

[28] Русская мысль. 1969. 13 февраля. № 2725. С. 8—9.

[29] Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г. Адамовича И. Одоевцевой и Г. Иванову (1955—1958) / Публ. О. А. Коростелева // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 21. СПб., 1997. С. 420.

[30] *Чуковский Н.* Литературные воспоминания. М., 1989. С. 35.

[31] *Бобышев Д.* «Ковчег», или укладка с грамотами // Панорама. (Лос-Анджелес) 1993 3—9 февраля. № 617. С. 20.

[32] *Мандельштам О.* Слово и культура. М., 1987. С. 76.

[33] Биржевые ведомости. 1916. 14 октября. № 15861. С. 5.

[34] Новый журнал для всех. 1916. № 2—3. С. 74.

[35] Утро России. 1916. 5 марта. № 65. С. 7.

[36] Русские ведомости. 1916. 10 августа. № 184. С. 5.

[37] Последние новости. 1939. 9 марта. № 6555. С. 3. Подп.: Антон Крайний.

[38] *Иваск Ю.* Эпоха Блока и Мандельштама: Главы из задуманной книги // Мосты. 1968. № 13—14. С. 209—235.

[39] Утро России. 1916. 5 марта. № 65. С. 7.

[40] *Гумилев Н.* Письмо о русской поэзии // Аполлон. 1916. № 1. С. 26.

[41] Биржевые ведомости. 1916. 14 октября. № 15861. С. 5.

[42] Журнал журналов. 1916. № 30. С. 9.

[43] Два неизвестных письма Г. Адамовича / Публ. Жоржа Шерона // Новый журнал. 1988. № 172—173. С. 569.

[44] См. тематические номера журнала «Russian Literature», посвященные акмеизму, а также специальный выпуск «Russian Language Journal» — «Toward a Definition of Acmeism» (East Lancing, Michigan, 1975).

[45] Цит. по: Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама: Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Комментарии. Исследования. Воронеж, 1990. С. 438—439.

[46] *Гофман В.* О Мандельштаме: Наблюдения над лирическим сюжетом и семантикой стиха // Звезда. 1991. № 12. С. 176.

[47] *Мандельштам О.* Слово и культура. М., 1987. С. 261.

[48] *Мандельштам О.* Сочинения в двух томах. М., 1990. Т. 1. С. 24.

[49] *Лотман Ю. М.* Поэтическое косноязычие Андрея Белого // Андрей Белый: Проблемы творчества. М.: 1988. С. 439.

[50] *Тименчик Р. Д.* Заметки об акмеизме // Russian Literature. 1974. № 7—8. P. 34.

[51] *Тименчик Р.* По поводу Антологии петербургской поэзии эпохи акмеизма // Russian Literature. 1977. Vol. 4. P. 315—323.

[52] *Адамович Г.* На полустанках // Звено 1923. 8 октября № 36. С. 2.

[53] Биржевые ведомости. 1916. 14 октября. № 15861. С. 5.

[54] Oxford Slavonic Papers. 1986. Vol. XIX. P. 144.

[55] Биржевые ведомости. 1916. 14 октября. № 15861. С. 5.

[56] *Жирмунский В М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л.: Наука, 1977. С. 132—133.

[57] Биржевые ведомости. 1916. 14 октября. № 15861. С. 5.

[58] РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 2. Ед. хр. 20.

[59] *Полтавцева Н. Г.* Анна Ахматова и культура «серебряного века» // Царственное слово: Ахматовские чтения. Выпуск I. М.: Наследие, 1992. С. 45, 48.

[60] О категории остроты у акмеистов см.: *Тименчик Р. Д.* Заметки об акмеизме // Russian Literature. 1974. № 7—8. P. 40—46.

[61] *Богомолов Н. А.* Талант двойного зрения // *Иванов Г.* Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы Китайские тени. М., 1989. С. 515.

[62] Цит. по: *Тименчик Р. Д.* Заметки об акмеизме // Russian Literature. 1974. № 7—8. Р. 30.

[63] *Мочульский К.* Новый Петроградский цех поэтов // Последние новости. 1922. 2 декабря. № 804. С. 2.

[64] *Жирмунский В.* О поэзии классической и романтической // Жизнь искусства. 1920. 10 февраля. № 339—340; *Оцуп Н.* О Н. Гумилеве и классической поэзии // Цех поэтов. Кн. 3. Пг., 1922. С. 45—47; *Мочульский К.* Классицизм в современной русской поэзии // Современные записки. 1922. № 11. С. 368—379; и др.

[65] *Мандельштам О.* Слово и культура. М., 1987. С. 40.

66 Теория литературных стилей: Современные аспекты изучения. М., 1982. С. 352.

[67] *Мандельштам О.* Слово и культура. М., 1987. С. 205.

[68] *Адамович Г.* Русская поэзия // Жизнь искусства. 1923. № 2. С. 3.

[69] *Адамович Г.* На полустанках // Звено. 1923. 8 октября. № 36. С. 2.

[70] *Адамович Г.* Темы // Воздушные пути. 1960. № 1. С. 47.

[71] *Мочульский К.* Возрождение Пушкина // Звено. 1924. 16 июля. № 72. С. 2.

[72] *Крейд В.* Петербургский период Георгия Иванова. Tenafly, 1989. С. 111.

[73] Начала. 1922. № 2. С. 294.

[74] Можно было бы привести длинный список совпадений, в том числе и дословных, в статьях Адамовича и Мандельштама общего для них периода «неоклассицизма». У обоих в высказываниях явственно слышатся отголоски гумилевских мыслей, во многом сходен и набор авторитет-

ных имен, которыми они оперируют: Анненский, Розанов, Бергсон, Расин, Шенье, Бодлер и т. д Совпадения — явно результат цеховых словопрений, дань школе, поэтическому кружку; интуитивно оба не могли не сознавать, что дороги их скоро разойдутся.

[75] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1925. 5 января. № 101. С. 2

[76] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1926. 29 августа. № 187. С. 2

[77] *Городецкий С.* Некоторые течения в современной русской поэзии // Аполлон. 1913. № 1. С. 48—49.

[78] ГЛМ. Ф. 247. Оп. 1.

[79] *Адамович Г.* Литературные заметки // Звено. 1924. 3 ноября. № 92. С. 2.

[80] *Адамович Г.* Комментарии. Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 173.

[81] Хранящиеся в РГАЛИ (Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 145.) письмо впервые опубликовано в Тименчик Р. Д. Неопубликованное письмо Георгия Адамовича Николаю Гумилеву // Philologia: Рижский филологический сборник. Вып. 1. Рига, 1994. С. 109—112.

[82] *Адамович Г.* Комментарии. Вашингтон: Victor Kamkın Inc., 1967. С. 171, 175.

[83] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1927. № 2. С. 67.

[84] Лишь с несколькими людьми Гиппиус любила быть предельно откровенной, в частности, в разные периоды жизни, с Розановым, Философовым, а в эмиграции, среди немногих, с Адамовичем. В письме от 14 января 1928 года Гиппиус призналась Адамовичу: «Вы один из самых живых людей из долгого моего антуража» (Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippius / Comp. By Temira Pachmuss. München: Wilhelm Fink Verlag, 1972. P. 364).

[85] Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippius / Comp. By Temira Pachmuss. München, 1972. P. 383, 345.

[86] Ibid. P. 373.

[87] Ibid. P. 391—392.

[88] Coll. Adamovich. Bakhmeteff Archives. Columbia University. New York.

[89] *Адамович Г.* Комментарии. Вашингтон, 1967. С. 74, 76, 169.

[90] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1927. 23 января. № 208. С. 1.

[91] *Иваск Ю.* О послевоенной эмигрантской поэзии // Новый журнал. 1950. № 23. С. 196.

[92] *Адамович Г.* Комментарии. Вашингтон, 1967. С. 174.

[93] Последние новости. 1929. 15 августа. № 3067. С. 3.

[94] *Анненский И. Ф.* Книги отражений. М., 1979. С. 206.

[95] *Адамович Г.* Комментарии. Вашингтон, 1967. С. 79.

[96] *Мандельштам О.* Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 26.

[97] *Лотман Ю. М.* Анализ поэтического текста. Л., 1972. С. 103—104.

[98] *Жолковский А. К., Щеглов Ю. К.* Мир автора и структура текста: Статьи о русской литературе. Tenafly, 1986. С. 178—203.

[99] *Оцуп Н.* Современники. Париж, 1961. С. 147.

[100] Современные записки. 1939. № 69. С. 383.

[101] *Иванов Вяч.* Борозды и межи. М., 1916. С. 295.

[102] *Адамович Г. В.* Памяти Анненского // Цех поэтов. Кн. 3. Пг., 1922. С. 40.

[103] *Иваск Ю.* Разговоры с Адамовичем (1958—1971) // Новый журнал. 1979. № 134. С. 98.

[104] *Адамович Г.* Комментарии. Вашингтон, 1967. С. 208.

[105] Там же. С. 78.

[106] Там же. С. 105.

[107] *Адамович Г. В.* Русская поэзия // Жизнь искусства. 1923. № 2. С. 3.

[108] *Потебня А. А.* Теоретическая поэтика. М.: Высшая школа, 1990. С. 154.

[109] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1925. 27 июля. № 130. С. 2.

[110] *Анненский И.* Книги отражений. М., 1979. С. 486.

[111] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1925. 9 ноября. № 145. С. 2.

[112] *Адамович Г.* Комментарии. Вашингтон, 1967 С. 173—174.

[113] *Адамович Г.* Литературные заметки // Последние новости 1939. 12 января. № 6499. С. 3.

[114] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1927. 29 мая. № 226. С. 1.

[115] *Анненский И.* Книги отражений. М.: Наука, 1979. С. 201.

[116] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1927. 29 мая. № 226. С. 1. Поразительна близость этих убеждений Адамовича с неопозитивистской программой «очищения» языка. Ср., в частности, знаменитый заключительный тезис «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» (*Л. Витгенштейн.* Философские работы. Часть 1. М., 1994. С. 73). Данная параллель отнюдь не является случайной и заслуживает отдельного разговора.

[117] *Адамович Г.* Об Алексее Толстом и его последних произведениях // Современные записки. 1927. № 33. С. 428.

[118] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1927. 17 апреля. № 220. С. 2.

[119] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1927. 29 мая. № 226. С. 1.

[120] *Адамович Г.* Комментарии. Вашингтон, 1967. С. 183.

[121] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1925. 3 августа. № 131. С. 2.

[122] *Адамович Г.* Комментарии. Вашингтон, 1967. С. 174—175.

[123] *Иваск Ю.* Собеседник: Памяти Георгия Викторовича Адамовича // Новый журнал. 1972. № 106. С. 286.

[124] *Адамович Г.* Комментарии. Вашингтон, 1967. С. 8—9.

[125] *Адамович Г.* Мои встречи с Алдановым // Новый журнал. 1960. № 60. С. 100.

[126] *Чиннов И.* Вспоминая Адамовича // Новый журнал. 1972. № 109. С. 146.

[127] *Адамович Г* Комментарии. Вашингтон, 1967. С. 104.

[128] Там же. С. 70

[129] *Чиннов И.* Вспоминая Адамовича // Новый журнал. 1972. № 109. С. 147.

[130] Из письма Ю. Иваска В. Маркову от 29 января 1956 года // Собрание Жоржа Шерона. Лос-Анджелес.

[131] *Адамович Г.* Комментарии. Вашингтон, 1967. С. 6—7.

[132] *Мандельштам О.* Слово и культура. М., 1987. С. 175.

[133] *Чиннов И.* Вспоминая Адамовича // Новый журнал. 1972. № 109. С. 139.

[134] Там же. С. 140.

[135] Там же. С. 140—141.

[136] Последние новости. 1939. 9 марта. № 6555. С 3. Подп.: Антон Крайний

[137] *Вадвич Н.* Русские поэты // Русский временник. 1939. № 3. С. 126.

[138] *Иваск Ю.* Эпоха Блока и Мандельштама· Главы из задуманной книги // Мосты 1968. № 13—14. С. 235.

[139] Последние новости. 1939. 9 марта. № 6555. С. 3 Подп.: Антон Крайний.

[140] *Жирмунский В. М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л.: Наука, 1977. С. 139.

[141] *Крейд В.* Петербургский период Георгия Иванова. Tenafly, 1989. С. 41—42.

[142] См., например, главу «Многообразие форм чужого слова у ранней Ахматовой» в диссертации Р Д. Тименчика «Художественные принципы предреволюционной поэзии Анны Ахматовой» (Тарту, 1982 С. 111—146), а также. *Тамура Мицумаса.* О чужом голосе в ранних стихах Анны Ахматовой // Царственное слово: Ахматовские чтения. Выпуск I. М., 1992. С. 119—125.

[143] *Гинзбург Л.* О лирике. Л., 1974. С. 267.

[144] *Эйхенбаум Б. М.* О литературе. М., 1987. С. 447—448.

[145] *Мандельштам О.* Слово и культура. М., 1987. С. 175.

[146] *Крейд В.* Петербургский период Георгия Иванова. Tenafly, 1989. С. 41.

[147] О цитатности у Готье см. предисловие Г. Косикова к книге: *Готье Теофиль.* Эмали и камеи. М., 1989. С. 17—18.

[148] *Тименчик Р. Д.* Текст в тексте у акмеистов // Ученые записки Тартуского университета. Вып. 567. Тарту, 1981.

[149] Современные записки. 1939. № 69. С. 383.

[150] *Черный К. М.* Поэзия Иннокентия Анненского Дисс. . . канд. фил. наук. М., 1974. С. 112—114

[151] *Тынянов Ю. Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 174.

[152] *Адамович Г.* «У самого моря» // Голос жизни. 1915. № 19. С. 6.

[153] *Адамович Г.* Комментарии. Вашингтон, 1967. С. 185.

[154] *Адамович Г.* Русская поэзия // Жизнь искусства. 1923. № 2. С. 3.

[155] *Адамович Г. В.* Толстой: Речь на собрании в Париже 3 декабря 1960 года. Париж, 1960. С. 9.

[156] *Жирмунский В. М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л.: Наука, 1977. С. 64.

[157] Там же. С. 90.

[158] *Волошин М.* Лики творчества. Л.: Наука, 1989. С. 770.

[159] *Гумилев Н.* Письмо о русской поэзии // Аполлон. 1916. № 1. С. 26.

[160] Современные записки 1939. № 69. С. 383.

[161] *Эйхенбаум Б. М.* О прозе. О поэзии. Л., 1986. С. 436.

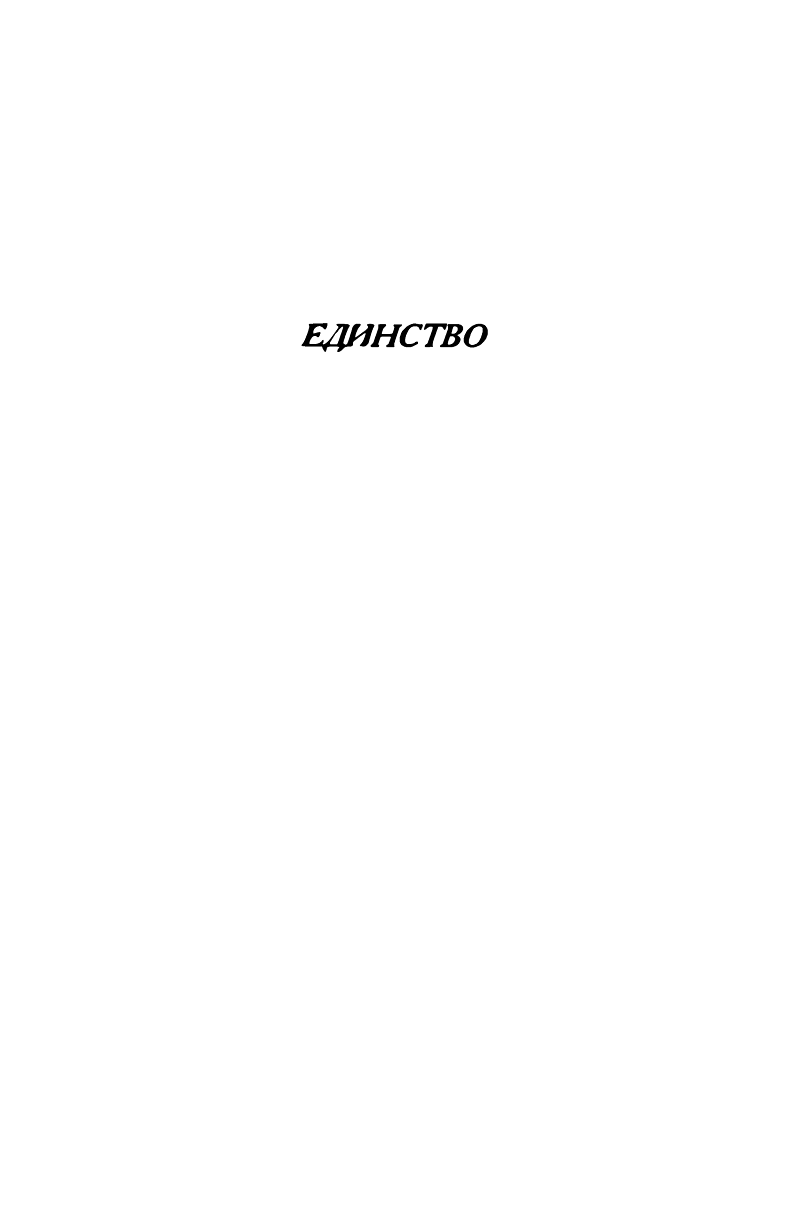
[162] *Жирмунский В. М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л.: Наука, 1977. С. 118.

[163] *Эйхенбаум Б. М.* О прозе. О поэзии. Л., 1986. С. 436.

[164] *Эйхенбаум Б. М.* О литературе. М., 1987. С. 446.

[165] *Мандельштам О.* Слово и культура. М., 1987. С. 66—67.

[166] *Адамович Г.* Комментарии. Вашингтон, 1967. С. 185.



# *ЕДИНСТВО*

1

Стихам своим я знаю цену.
Мне жаль их, только и всего.
Но ощущаю как измену
Иных поэзий торжество.

Сквозь отступленья, повторенья,
Без красок и почти без слов,
Одно, единое виденье,
Как месяц из-за облаков,

То промелькнет, то исчезает,
То затуманится слегка,
И тихим светом озаряет,
И непреложно примиряет
С беспомощностью языка.

2

Тихим, темным, бесконечно-звездным,
Нет ему ни имени, ни слов,
Голосом небесным и морозным
Из-за бесконечных облаков,
Из-за бесконечного эфира,
Из-за всех созвездий и орбит,
Легким голосом иного мира
Смерть со мной все время говорит.

Я живу, как все: пишу, читаю,
Соблюдаю суету сует...

Но, прислушиваясь, умираю
Голосу любимому в ответ.

### 3

Ни с кем не говори. Не пей вина.
Оставь свой дом. Оставь жену и брата.
Оставь людей. Твоя душа должна
Почувствовать — к былому нет возврата.

Былое надо разлюбить. Потом
Настанет время разлюбить природу,
И быть все безразличней, — день за днем,
Неделю за неделей, год от году.

И медленно умрут твои мечты.
И будет тьма кругом. И в жизни новой
Отчетливо тогда увидишь ты
Крест деревянный и венок терновый.

### 4

Ты здесь опять... Неверная, что надо
Тебе от человека в забытьи?
Скажи на милость, велика отрада —
Улыбки, взгляды, шалости твои!

О, как давно тебе я знаю цену,
Повадки знаю и притворный пыл.
Я не простил... скорей забыл измену,
Да и ночные россказни забыл.

Что пять минут отравленного счастья?
Что сладости в лирическом чаду?
Иной, иной «с восторгом сладострастья»
Я тридцать лет тебя напрасно жду.

Пройдемся, что ж... То плача, то играя,
То будто отрываясь от земли,
Чтоб с берегов искусственного рая
Вернуться нищими, как и пришли.

И мы выходим... Небо? Небо то же.
Снег, рестораны, фонари, дома.
Как холодно и тихо. Как похоже...
Нет, я не брежу, не схожу с ума,

Нет, я не обольщаюсь: нет измены.
Чуть кружится, как прежде, голова,
С каким-то невским ветерком от Сены
Летят, как встарь, послушные слова,

День настает почти нездешне яркий,
Расходится предутренняя мгла,
Взвивается над Елисейской аркой
Адмиралтейства вечная игла,

И в высоте немыслимо морозной,
В сияющей, слепящей вышине
Лик неизменный, милосердный, грозный,
В младенчестве склонявшийся ко мне!

.....................................

Спасибо, друг. Не оставляй так скоро,
А малодушие ты мне прости.
Не мало человек болтает вздора,
Как говорят, «на жизненном пути».

Не забывай. Случайно, мимоходом,
На огонек, — скажи, придешь?

## 5

Без отдыха дни и недели,
Недели и дни без труда.
На синее небо глядели,
Влюблялись... И то не всегда.

И только. Но брезжил над нами
Какой-то божественный свет,
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет.

## 6

По широким мостам... Но ведь мы все равно
не успеем,
Этот ветер мешает, ведь мы заблудились в пути,
По безлюдным мостам, по широким
и черным аллеям
Добежать хоть к рассвету, и остановить, и спасти.

Просыпаясь дымит и вздыхает тревожно столица.
Окна призрачно светятся. Стынет дыханье в груди.

Отчего мне так страшно? Иль, может быть, все
это снится,
Ничего нет в прошедшем и нет ничего впереди?

Море близко. Светает. Шаги уже меряют где-то.
Будто скошены ноги, я больше бежать не могу.
О, еще б хоть минуту! Но щелкнул курок пистолета.
Не могу... все потеряно... Темная кровь на снегу.

Тишина, тишина. Поднимается солнце. Ни слова.
Тридцать градусов холода. Тускло сияет гранит.
И под черным вуалем у гроба стоит Гончарова,
Улыбается жалко и вдаль равнодушно глядит.

*<1921>*

## 7

«...может быть залог».
*Пушкин*

«О, если правда, что в ночи...»
Не правда. Не читай, не надо.
Все лучше: жалобы твои,
Слез ежедневные ручьи,
Чем эта лживая услада.

Но если... о, тогда молчи!
Еще не время, рано, рано.
Как голос из-за океана,
Как зов, как молния в ночи,
Как в подземелье свет свечи,

Как избавление от бреда,
Как исцеленье... видит Бог,
Он сам всего сказать не мог,
Он сам в сомненьях изнемог...
Тогда бессмер... молчи!.. победа,
Ну, как там у него? «залог».

*<1922>*

### 8

За слово, что помнил когда-то
И после навеки забыл,
За все, что в сгораньях заката
Искал ты, и не находил,

И за безысходность мечтанья,
И холод растущий в груди,
И медленное умиранье
Без всяких надежд впереди,

За белое имя спасенья,
За темное имя любви
Прощаются все прегрешенья
И все преступленья твои.

### 9

«О, если где-нибудь, в струящемся эфире,
В надзвездной вышине,

В непостижимой тьме, в невероятном мире
Ты все же внемлешь мне,

То хоть бы только раз...» Но длилось промедленье,
И все слабей дыша,
От одиночества и от недоуменья
Здесь умерла душа.

## 10

Слушай — и в смутных догадках не лги.
Ночь настает, и какая: ни зги!

Надо безропотно встретить ее,
Как ни сжималось бы сердце твое.

Слушай себя, но не слушай людей.
Музыка мира все глуше, бедней.

Космос, полеты, восторги, война, —
Жизнь, говорят, измениться должна.

(Да, это так.. Но не поняли вы:
«Тише воды, ниже травы»).

## 11

Был дом, как пещера. О, дай же мне вспомнить
Одно только имя, очнуться, понять!

Над соснами тучи редели. У дома
Никто на порог нас не вышел встречать.

Мужчины с охоты вернулись. Звенели
И перекликались протяжно рога.
Как лен были волосы над колыбелью,
И ночь надвигалась, темна и долга.

Откуда виденье? О чем этот ветер?
Я в призрачном мире сбиваюсь с пути.
Безмолвие, лес, одиночество, верность...
Но слова единственного не найти.

Был дом, как пещера. И слабые, зимние,
Зеленые звезды. И снег, и покой,
Конец, навсегда. Обрывается линия.
Поэзия, жизнь, я прощаюсь с тобой!

*<1931>*

## 12

Твоих озер, Норвегия, твоих лесов...
И оборвалась речь сама собою.
На камне женщина поет без слов,
Над нею небо льдисто-голубое.

О верности, терпении, любви,
О всех оставленных, о всех усталых...
(Я здесь, я близко, вспомни, назови!)
Сияет снег на озаренных скалах,

Сияют сосны красные в снегу.
Сон недоснившийся, неясный, о котором
Иначе рассказать я не могу...

Твоим лесам, Норвегия, твоим озерам.

*<1924>*

## 13

Светало. Сиделка вздохнула. Потом
Себя осенила небрежным крестом
И отложила ненужные спицы.
Прошел коридорный с дежурным врачом.
Покойника вынесли из больницы.

А я в это время в карты играл,
Какой-нибудь вздор по привычке читал,
И даже не встал. Ничего не расслышал,
На голос, из-за моря звавший, не вышел,
Не зная куда, без оглядки, навек...

А вот, еще говорят — «человек»!

## 14

Да, да... я презираю нервы,
Истерику, упреки, всё.
Наш мир — широкий, щедрый, верный,
Как небеса, как бытиё.

Я презираю слезы, — слышишь?
Бесчувственный я, так и знай!
Скажи, что хочешь... тише, тише...
Нет, имени не называй.

Не называй его... а впрочем,
Все выдохлось за столько лет.
Воспоминанья? Клочья, клочья.
Надежды? Их и вовсе нет.

Не бойся, я сильней другого,
Что хочешь говори... да, да!
Но только нет, не это слово
Немыслимое:
никогда.

## 15

Ну, вот и кончено теперь. Конец.
Как в мелодраме, грубо и уныло.
А ведь из человеческих сердец
Таких, мне кажется, немного было.

Но что ему мерещилось? О чем
Он вспоминал, поверя сну пустому?
Как на большой дороге, под дождем,
Под леденящим ветром, к дому, к дому.

Ну, вот и дома. Узнаешь? Конец.
Все ясно. Остановка, окончанье.

А ведь из человеческих сердец...
И это обманувшее сиянье!

### 16

За все, за все спасибо. За войну,
За революцию и за изгнанье.
За равнодушно-светлую страну,
Где мы теперь «влачим существованье».

Нет доли сладостней — все потерять.
Нет радостней судьбы — скитальцем стать,
И никогда ты к небу не был ближе,
Чем здесь, устав скучать,
Устав дышать,
Без сил, без денег,
Без любви,
В Париже...

### 17

Когда мы в Россию вернемся... о, Гамлет восточный, когда? —
Пешком, по размытым дорогам, в стоградусные холода,
Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком,
Но только наверное знать бы, что вовремя мы добредем...

Больница. Когда мы в Россию... колышется счастье
в бреду,
Как будто «Коль славен» играют в каком-то
приморском саду,
Как будто сквозь белые стены, в морозной
предутренней мгле
Колышутся тонкие свечи в морозном и спящем
Кремле.

Когда мы... довольно, довольно. Он болен, измучен
и наг.
Над нами трехцветным позором полощется
нищенский флаг,
И слишком здесь пахнет эфиром, и душно,
и слишком тепло.
Когда мы в Россию вернемся... но снегом ее замело.

Пора собираться. Светает. Пора бы и двигаться
в путь.
Две медных монеты на веки. Скрещенные руки
на грудь.

## 18

Что там было? Ширь закатов блеклых,
Золоченных шпилей легкий взлет,
Ледяные розаны на стеклах,
Лед на улицах и в душах лед.

Разговоры будто бы в могилах,
Тишина, которой не смутить...

Десять лет прошло, и мы не в силах
Этого ни вспомнить, ни забыть.

Тысяча пройдет, не повторится,
Не вернется это никогда.
На земле была одна столица,
Все другое — просто города.

## 19

Всю ночь слова перебираю,
Найти ни слова не могу,
В изнеможенье засыпаю
И вижу реку всю в снегу,
Весь город наш, навек единый,
Край неба бледно-райски-синий,
И на деревьях райский иней...

Друзья! Слабеет в сердце свет,
А к Петербургу рифмы нет.

## 20

Когда успокоится город
И смолкнет назойливый гам,
Один выхожу я из дому,
В двенадцать часов по ночам.

Под черным, невидимым небом,
По тонкому первому льду,

Не встретив нигде человека,
Не помня дороги, иду.

И вижу широкую реку,
И темную тень на коне,
И то, что забыла Россия,
Тогда вспоминается мне.

Но спит непробудно столица,
Не светит на небе луна.
Не бьют барабаны. Из гроба
Никто не встает. Тишина.

Лишь с воем летя от залива
И будто колебля гранит,
Сухой и порывистый ветер
Мне ноги снежком порошит.

*<1922>*

**21**

Я не тебя любил, но солнце, свет,
Но треск цикад, но голубое море.
Я то любил, чего и следу нет
В тебе. Я на немыслимом просторе

Любил. Я солнечную благодать
Любил. Что знаешь ты об этом?
Что можешь рассказать
Ветрам, просторам, молниям, кометам?

Да, у меня кружилась голова
От неба, от любви, от этой рощи
Оливковой... Ну да, слова.
Ну да, литература... Надо проще.

Был сад во тьме, был ветерок с высот,
Две-три звезды, — что ж не простого в этом?
Был голос вдалеке: «Нет, только тот,
Кто знал...» — мне одному ответом.

И даже ночь с Чайковским заодно
В своем безмолвии предвечном пела
О том, что все обречено,
О том, что нет ни для чего предела.

«Нет, только тот...» Пойми, я не могу
Ясней сказать, последним снам не вторя,
Я отплываю, я на берегу
Иного, не земного моря.

Я не тебя любил. Но если там,
Где все кончается, все возникает,
Ты к новым мукам, новым небесам
Покорно, медленно... нет, не бывает...

Но если все-таки... не будет, ложь...
От одного к другому воплощенью
Ты предо мной когда-нибудь пройдешь
Неузнаваемой, ужасной тенью,

Из глубины веков я вскрикну: да!
Чрез миллионы лет, но как сегодня,

Как солнце вечности, о, навсегда,
Всей жизнью и всей смертью — помню!

## 22

Наперекор бессмысленным законам,
Наперекор неправедной судьбе
Передаю навек я всем влюбленным
Мое воспоминанье о тебе.

Оно как ветер прошумит над ними,
Оно протянет между ними нить,
И никому неведомое имя
Воскреснет в нем и будет вечно жить.

О, ангел мой, холодную заботу,
Сочувствие без страсти и огня
Как бы по ростовщическому счету
Бессмертием оплачиваю я.

## 23

Он милостыни просит у тебя
Он — нищий, он протягивает руку.
Улыбкой, взглядом, молча, не любя
Ответь хоть чем-нибудь на эту муку.

А впрочем, в муке и блаженство есть.
Ты не поймешь. Блаженство униженья,
Слов сгоряча, ночей без сна, Бог весть
Чего... Блаженство утра и прощенья.

## 24

Ни срезанных цветов, ни дыма панихиды.
Не умирают люди от обиды
И не перестают любить.

В окне чуть брезжит день и надо снова жить.

Но если, о мой друг, одной прямой дороги
Весь мир пересекла бы нить,
И должен был бы я, стерев до крови ноги,
Брести века по ледяным камням,
И, коченея, где-то там
Коснуться рук твоих безмолвно и устало,
И все опять забыть, и путь начать сначала,
Ужель ты думаешь, любовь моя,
Что не пошел бы я?

*<1922>*

## 25

Ночь... и к чему говорить о любви?
Кончены розы и соловьи,

Звезды не светят, леса не шумят,
Непоправимое... пятьдесят.

С розами, значит, или без роз,
Ночь, — и «о жизни покончен вопрос».

...И оттого еще более ночь,
Друг, не способный любить и помочь,

Друг моих снов, моего забытья,
Счастье мое, безнадежность моя,

Розовый идол, персидский фазан,
Птица, зарница... ну, что же, я пьян,

Друг мой, ну что же, так сходят с ума,
И оттого еще более тьма,

И оттого еще глуше в ночи,
Что от немеркнущей, вечной свечи,

— Если сознание, то в глубине,
Если душа, то на самом дне, —

Луч беспощадный врезается в тьму:
Жить, умирать — все равно одному.

## 26

В последний раз... Не может быть сомненья,
Это случается в последний раз,
Это награда за долготерпенье,
Которым жизнь испытывала нас.

Запомни же, как над тобой в апреле
Небо светилось всею синевой,
Солнце сияло, как в ушах звенели
Арфы, сирены, соловьи, прибой.

Запомни же: обиды, безучастье,
Ночь напролет, — уйти, увидеть, ждать? —
Чтоб там, где спросят, что такое счастье,
Как в школе руку первому поднять.

## 27

*Н<иколаю> Р<ейзини>*

Ночью он плакал. О чем, все равно.
(Многое спутано, затаено).

Ночью он плакал, и тихо над ним
Жизни сгоревшей развеялся дым.

Утром другие приходят слова,
Перебираю, что помню едва.

Ночью он плакал... И брезжил в ответ
Слабый, далекий, а все-таки свет.

## 28

Один сказал: «Нам этой жизни мало».
Другой сказал: «Недостижима цель».
А женщина привычно и устало,
Не слушая, качала колыбель.

И стертые веревки так скрипели,
Так умолкали, — каждый раз нежней! —

Как будто ангелы ей с неба пели
И о любви беседовали с ней.

### 29

Но смерть была смертью. А ночь над холмом
Светилась каким-то нездешним огнем,
И разбежавшиеся ученики
Дышать не могли от стыда и тоски.

А после... Прозрачную тень увидал
Один. Будто имя свое услыхал
Другой... И почти уж две тысячи лет
Стоит над землею немеркнущий свет.

### 30

Патрон за стойкою глядит привычно, сонно,
Гарсон у столика подводит блюдцам счет.
Настойчиво, назойливо, неугомонно
Одно с другим — огонь и дым — борьбу ведет.

Не для любви любить, не от вина быть пьяным.
Что знает человек, который сам не свой?
Он усмехается над допитым стаканом,
Он что-то говорит, качая головой.

За все, что не сбылось. За тридцать лет разлуки,
За вечер у огня, за руки на плече.
Еще, за ангела... и те, иные звуки...
Летел, полуночью... за небо, вообще!

Он проиграл игру, он за нее ответил.
Пора и по домам. Надежды никакой.
— И беспощадно бел, неумолимо светел
День занимается в полоске ледяной.

## 31

Под ветками сирени сгнившей,
Не слыша лести и обид,
Всему далекий, все забывший
Он, наконец, спокойно спит.

Пустынно тихое кладбище,
Просторен тихий небосклон,
И воздух с каждым днем все чище,
И с каждым днем все глубже сон.

А ты, заботливой рукою
Сюда принесшая цветы,
Зачем кощунственной мечтою
Себя обманываешь ты?

## 32

Осенним вечером, в гостинице, вдвоем,
На грубых простынях привычно засыпая...
Мечтатель, где твой мир? Скиталец, где твой дом?
Не поздно ли искать искусственного рая?

Осенний крупный дождь стучится у окна,
Обои движутся под неподвижным взглядом.

Кто эта женщина? Зачем молчит она?
Зачем лежит она с тобою рядом?

Безлунным вечером, Бог знает где, вдвоем,
В удушии духов, над облаками дыма...
О том, что мы умрем. О том, что мы живем.
О том, как страшно все. И как непоправимо.

## 33

Тянет сыростью от островов,
Треплет ветер флаг на пароходе,
И глаза твои, как две лагуны,
Отражают розовое небо.

Мимолетный друг, ведь все обман,
Бога нет и в мире нет закона,
Если может быть, что навсегда
Ты меня оставишь. Не услышишь
Голоса зовущего. Не вспомнишь
Этот летний вечер...

## 34

Где ты теперь? За утесами плещет море,
По заливам льдины плывут,
И проходят суда с трехцветным широким флагом.
На шестом этаже, задыхаясь, у телефона,
Человек говорит: «Мария, я вас любил».

Пролетают кареты. Автомобили
За ними гудят. Зажигаются фонари.
Продрогшая девочка бьется продать спички.

Где ты теперь? На стотысячезвездном небе
Миллионом лучей белеет Млечный путь,
И далеко, у глухо-гудящих сосен, луною
Озаряемая, века и века,
Угрюмо шумит Ниагара.

Где ты теперь? Иль мой голос уже, быть может,
Без надежд над землей и ответа лететь обречен,
И остались в мире лишь волны,
Дробь звонков, корабли, фонари, нищета,
луна, водопады?

*<1920>*

## 35

Пора печали, юность — вечный бред.

Лишь растеряв по свету всех друзей,
Едва дыша, без денег и любви,
И больше ни на что уж не надеясь,
Он понял, как прекрасна наша жизнь,
Какое торжество и счастье — жизнь,
За каждый час ее благодарит
И робко умоляет о прощенье
За прежний ропот дерзкий...

*<1924>*

## 36

Нет, ты не говори: поэзия — мечта,
Где мысль ленивая игрой перевита,

И где пленяет нас и дышит легкий гений
Быстротекущих снов и нежных утешений.

Нет, долго думай ты и долго ты живи,
Плачь, и земную грусть, и отблески любви,

Дни хмурые, утра, тяжелое похмелье —
Все в сердце береги, как медленное зелье,

И, может, к старости тебе настанет срок
Пять-шесть произнести как бы случайных строк,

Чтоб их в полубреду потом твердил влюбленный,
Растерянно шептал на казнь приговоренный,

И чтобы музыкой глухой они прошли
По странам и морям тоскующей земли.

*<1919>*

## 37

Как холодно в поле, как голо,
И как безотрадны очам
Убогие русские села
(Особенно по вечерам).

Изба под березой. Болото.
По черным откосам ручьи.
Невесело жить здесь, но кто-то
Мне точно твердит — поживи!

Недели, и зимы, и годы,
Чтоб выплакать слезы тебе
И выучиться у природы
Ее безразличью к судьбе.

*<1919>*

## 38

*З<инаиде> Г<иппиус>*

Там, где-нибудь, когда-нибудь,
У склона гор, на берегу реки,
Или за дребезжащею телегой,
Бредя привычно под косым дождем,
Под низким, белым, бесконечным небом,
Иль много позже, много, много дальше,
Не знаю что, не понимаю как,
Но где-нибудь, когда-нибудь, наверно...

## 39

Есть, несомненно, странные слова,
Не измышленья это и не бредни.
Мне делается холодно, едва
Услышу слово я «последний».

Последний час. Какой огромный сад!
Последний вечер. О, какое пламя!
Как тополя зловеще шелестят
Прозрачно-черными ветвями...

## 40

Ничего не забываю,
Ничего не предаю...
Тень несозданных созданий
По наследию храню.

Как иголкой в сердце, снова
Голос вещий услыхать,
С полувзгляда, с полуслова
Друга в недруге узнать,

Будто там, за далью дымной,
Сорок, тридцать, — сколько? — лет
Длится тот же слабый, зимний
Фиолетовый рассвет,

И как прежде, с прежней силой,
В той же звонкой тишине
Возникает призрак милый
На эмалевой стене.

## 41

Он говорил: «Я не люблю природы,
Я научу вас не любить ее.
И лес, и море, и отроги скал
Однообразны и унылы. Тот,
Кто в них однажды пристально вглядится,
От книги больше не поднимет глаз.

Один лишь раз, когда-то в сентябре,
Над темною, рябой и бедной речкой,
Над призрачными куполами Пскова,
Увидел мимоходом я закат,
Который мне напомнил отдаленно
Искусство человека...»

## 42

Sulmo mihi patria est...

*Овидий*

Нам Tristia — давно родное слово.
Начну ж, как тот: я родился в Москве.
Чуть брезжил день последнего, Второго,
В апрельской предрассветной синеве.

Я помнить не могу, но помню, помню
Коронационные колокола.
Вся в белом, шелестящем, — как сегодня! —
Мать улыбаясь в детскую вошла.

Куда, куда? — мы недоумеваем.
Какой-то звон, сиянье, пустота...
Есть меж младенчеством и раем
Почти неизгладимая черта.

Но не о том рассказ...

## 43

Из голубого океана,
Которого на свете нет,
Из-за глубокого тумана
Обманчиво-глубокий свет.

Из голубого океана,
Из голубого корабля,
Из голубого обещанья,
Из голубого... la-la-la...

Голубизна, исчезновенье,
И невозможный смысл вещей,
Которые приносят в пенье
Всю глубь бессмыслицы своей.

## 44

Приглядываясь осторожно
К подробностям небытия,
Отстаивая сколько можно
Свое, как говорится, «я»,

Надеясь, недоумевая,
Отбрасывая на ходу
«Проблему зла», «проблему рая»,
Или другую ерунду,

Он верит, верит... Но не будем
Сбиваться, повышая тон.
Не объяснить словами людям,
В чем и без слов уверен он.

Над ним есть небо голубое,
Та бесконечность, вечность та,
Где с вялой дремой о покое
О жизни смешана мечта.

*<1952>*

## 45

Ни музыки, ни мысли... ничего.
Тебе давно чистописанья мало,
Тебе давно игрой унылой стало,
Что для других — и путь, и торжество.

Но навсегда вплелся в напев твой сонный, —
Ты знаешь сам, — вошел в слова твои,
Бог весть откуда, голос приглушенный
Быть может смерти, может быть любви.



# ДОПОЛНЕНИЯ

## «ОБЛАКА» (1916)

### 46

Вот так всегда, — скучаю и смотрю
На золотую, бледную зарю.

Мне утешений нет. И я не болен, —
Я вижу облако и ветер в поле.

Но облако, что парус, уплывет
И ветер, улетая, позовет:

«Вон там Китай, пустыни и бананы,
Высоким солнцем выжженные страны».

И это жизнь! И эти кружева
Мне заменяют бледные слова,

Что слушал я когда-то, вечерами,
Там, над закатами, над облаками!

Но не могу я вспомнить тишины,
Той боли, и полета, и весны.

### 47

Скоро день. И как упрямо
Волны держат пароход.

Ветерок от Валаама
Звон малиновый несет.

Скоро в путь. А путь не страшен, —
Ведь по ладожским волнам
Мимо деревень и пашен
К синим, ясным куполам.

Тонкий звон, звени и падай,
Чтоб не потерять пути,
Помоги, Врагиня ада,
От лукавого уйти!

Сладок воздух, тесны кельи,
На траве медведь лежит!
Празднуй, празднуй новоселье
Убегающий во скит!

## 48

В зоологических садах орлы,
В тяжелых кольцах, сонные летают,
С прута на ветку — будто со скалы —
Перелетят и снова засыпают.

Как мне скучна их царская краса
И декорации глухой печали,
И пар над Альпами, и небеса,
Что раздираемых ягнят видали!

Я маленькую птицу, воробья,
Поймаю в клетку, напою водою.

Пусть он чирикает, поет. А я
Окошко разноцветное раскрою.

## 49

*День был ранний и молочно-парный.*
*Ин. Анненский*

Так тихо поезд подошел,
Пыхтя, к облезлому вокзалу,
Так грустно сердце вспоминало
Весь этот лес и частокол.

Все то же. Дождик поутру,
Поломанные георгины,
Лохмотья мокрой парусины
Все бьются, бьются на ветру,

А на цепи собака воет,
И выбегает на шоссе...
Здесь, правда, позабыли все,
Что было небо голубое.

Лишь помнит разоренный дом,
Как смерть по комнатам ходила,
Как черный поп взмахнул кадилом
Над полинявшим серебром.

И сосны помнят. И скрипят,
Совсем как и тогда скрипели, —
Ведь к ночи ранние метели
Уж снегом заметали сад.

## 50

*Анне Ахматовой*

Так беспощаден вечный договор!
И птицы, и леса остались дики,
И облака, — весь незапевший хор
О гибели, о славе Эвридики.

Так дни любви обещанной прошли!
Проходят дни и темного забвенья.
Уже вакханок слышится вдали
Тяжелое и радостное пенье.

И верности пред смертью не тая,
Покинутый, и раненый, и пленный,
Я вижу Елисейские поля,
Смущенные душою неблаженной.

## 51—52. НОЧИ

### I

Как трудно вечером дышать
И думать! И ночами тоже,
Когда чугунная кровать
Совсем на катафалк похожа.

А в комнатах, во тьме ночной
Какая тишина! Ты слышишь, —
Лишь за шкафами, под стеной
Скребут отравленные мыши.

Слабея, с ядом на зубах,
Грызут зеленые обои...
Я только слушаю. Но страх
Мне тоже не дает покоя.

И так всегда. Встаю тайком,
Иду скрипучими шагами
К окну, — и вижу за стеклом
Простое розовое пламя.

И страшно грустно, близко, тут,
Под окнами проходит пенье, —
То братья бедные бредут
На Волково успокоенье.

## II

Ведь только тюльпана упал цветок,
Лишь белой луной засветились плиты, —
— Быть может, сюда не входил никто,
Но завтра найдут человека убитым.

Что же, и это полночный бред,
И это мои полночные муки?
А там... у стены... леди Макбет
Зачем ломает красные руки?

Так страшно знать, что поток времен
Свой дикий гнев всегда возвращает,
И сорок веков погребенный стон
Ночью дрожит и нас оглушает.

## 53

Не знал и не верил в Бога.
Так, видно, мне суждено,
Но ветер принес тревогу
В высокое мое окно.

Я вижу: леса и воды
И неба мертвый покой,
Я помню: ранние годы,
Раннее слово «голубой»...

И вот, — ничего не надо.
Поет, поет тоска,
И дорога вьется из ада
Через пыльные облака.

А рекам уж нет истока
И воздух — тяжелый свинец.
Я стою у высоких окон
И знаю: это конец.

## 54

Под глухой, подавленный гул
Был сон покоен и долог.
Но кто-то лодку толкнул
И отдернул тяжелый полог.

И, удивленный, теперь я плыву,
В тишине по звездам гадаю,

И камни, и лес, и траву,
И небо, и снег вспоминаю.

Как знать? Печальный ли плен
Найду в грядущем тумане,
Или чудная лодка станет
У золотых Вавилонских стен?

Так, удивленный, плыву и гадаю,
И птичий слежу полет,
На звезды смотрю, — и не знаю,
Куда же лодка плывет?

## 55

Сухую позолоту клена
Октябрь по улицам несет,
Уж вечерами на балконах
Над картами не слышен счет,

Но граммофон поет! И трубы
Завинчены, и круг скрипит,
У попадьи ли ноют зубы
Иль околоточный грустит.

Вертись, вертись! Очарованьям
И призракам пощады нет.
И верен божеским сказаньям
Аяксов клоунский дуэт.

Но люди странны, — им не больно
Былые муки вспоминать

И хриплой музыки довольно,
Чтоб задыхаться и рыдать.

Был век... Иль, правда, вы забыли,
Как, услыхав ночной гудок,
Троянские суда отплыли
С добычей дивной на восток,

Как, покидая дом и стены,
И голубой архипелаг,
На корабле кляла Елена
Тяжелой верности очаг.

## 56

Стоцветными крутыми кораблями
Уж не плывут по небу облака,
И берега занесены песками,
И высохла стеклянная река.

Но в тишине еще синеют звезды
И вянут затонувшие венки,
Да у шатра разрушенного мерзнут
Горбатые, седые старики.

И сиринам, уж безголосым, снится,
Что из шатра, в шелках и жемчугах,
С пленительной улыбкой на устах
Выходит Шемаханская царица.

## 57. ЛЕТОМ

Опять брожу. Поля и травы,
Пустой и обгорелый лес,
Потоки раскаленной лавы
Текут с чернеющих небес.

Я ненавижу тьму глухую
Томительных июльских дней,
О дальней родине своей,
Как пленник связанный, тоскуя.

Пусть камни старой мостовой
Занесены горячей пылью,
И солнце огненные крылья
Высоко держит над Невой,

Но северная ночь заплачет,
Весь город окружит кольцом,
И Всадник со скалы поскачет
За сумасшедшим беглецом...

Тогда на миг, у вечной цели,
Так близко зеленеет дно,
И песни сонные в окно
Несут ленивые свирели.

## 58. ЗИГФРИД

Я не знаю, я все забыл.
Что тревожишь ты темным словом?

Я напиток душистый пил
На закате, в лесу сосновом.

Только видел — друга лицо
Искривилось радостью жгучей,
Да на сосны тяжелым кольцом,
Будто сонные, падали тучи...

Не зови, не смотри на меня!
Я тебя не люблю и не знаю, —
Только синее море огня
Как покинутый рай вспоминаю.

## 59

Выходи, царица, из шатра,
Вспомним молодые вечера.

Все здесь то же — ветер, города,
Да в реке глубокая вода.

То же небо на семи столбах,
Все в персидских, бархатных звездах.

И на дереве колдун сидит,
Крылья опустил и не кричит.

Скучно золотому петушку
В тишине качаться на суку,

Позднего прохожего поймать,
Хитрую загадку загадать.

И ведь, знаешь, холодно ему
Колдовать в полуночную тьму!

Все равно, что черное лицо,
Что давно заржавело кольцо,

Что дрожит прекрасная рука,
А в руке не посох, а клюка.

Выходи, царица, из шатра,
Выходи, красавица, пора.

## 60

Опять, опять лишь реки дождевые
Польются по широкому стеклу,
Я под дождем бредущую Россию
Все тише и тревожнее люблю.

Как мало нас, что пятна эти знают
Чахоточные на твоей щеке,
Что гордым посохом не называют
Костыль в уже слабеющей руке.

## 61—62. ЭЛЕГИИ

### I

Бегут, как волны, быстрые года,
Несут, как волны, серебро и пену.
Но я Вам обещаю — никогда
Вы не увидите моей измены.

Ведь надо мною, проясняя муть,
Уже сияет западное пламя,
Ведь мой печальный и короткий путь
Цветет уже осенними цветами.

И я хочу до рокового дня
Забыть утехи юности мятежной,
Лишь Ваши ласки в памяти храня
И образ Ваш, торжественный и нежный.

### II

Когда с улыбкой собеседник
Мне в кубок льет веселое вино, —
То кубок, может быть, последний,
И странный пир продлить не суждено.

Послушай, — радостное пенье
Уже глушат рыданья панихид,
И каждый день несет паденье,
И каждый миг нам гибелью грозит.

Так, на распутье бедных дней,
Я забываю годы, годы скуки,
Все безнадежней и нежней
Целуя холодеющие руки.

## 63

Вот все, что помню: мосты и камни,
Улыбка наглая у фонаря...

И здесь забитые кем-то ставни.
Дожди, безмолвие и заря.

Брожу... Что будет со мной, не знаю,
Но мысли, — но мысли только одни.
Кукушка, грустно на ветке качаясь,
Считает гостю редкому дни.

И дни бессчетны. Пятнадцать, сорок,
Иль бесконечность? Все равно.
Не птице серой понять, как скоро
Ветхий корабль идет на дно.

## 64

Вот жизнь, — пелена снеговая,
И ночи, и здесь тишина, —
Спустилась, лежит и не тает,
Меня сторожит у окна.

Вот, будто засыпано снегом,
Что кроет и кроет поля,
Рязанское белое небо
Висит над стенами кремля.

И томно поют колокольни,
И мерно читают псалмы,
О мире убогом и дольнем,
О князе печали и тьмы.

Ах, это ли жизнь молодая!
Скорей бы лошадку стегнуть,

Из тихого, снежного края
В далекий отправиться путь.

Стучат над мостами вагоны,
Стучит и поет паровоз...
Так больно и грустно влюбленных,
Тяжелый, ты часто ли вез?

Есть стрелы, которыми ранен
Смертельно и радостно я,
Есть город, уснувший в тумане,
Где жизнь оборвалась моя.

Над серой и шумной рекою
Мы встретимся, — я улыбнусь,
Вздохну, — и к снегам, и к покою
В пречистую пустынь вернусь.

### 65

И жизнь свою, и ветры рая,
И тонущий на взморье лед, —
Нет, ничего не вспоминаю,
Ничто к возврату не зовет.

Мне ль не понять и не поверить,
Что все изменит, — и тогда
Войдет в разломанные двери,
С бесстыдным хохотом, беда?

Бывает, в сумраке вечернем
Все тонет... Я лежу во сне.

Лишь стук шагов, далекий, верный
Слышнее в страшной тишине.

И сердце, не довольно ль боли,
О камни бьющейся любви?
Ты видишь, — небо, сабли, поле,
И губы тонкие в крови,

Ты видишь, — в путь сбираясь длинный,
Туда, к равнинам из равнин,
Качается в дали пустынной
Алмазно-белый балдахин.

## 66. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Вот, под окном идут солдаты
И глухо барабаны бьют.
Смотрю и слушаю... Когда-то
Мне утешенье принесут?

Окно раскрыто, полночь скоро,
А там — ни тьмы, ни ветерка,
Там — Новгород, престольный город,
И Волхов, синяя река.

Письма не будет... Знаю, знаю.
Писать ведь письма нелегко!
Зачем гармоника играет
Так поздно и недалеко?

Последний нонешний денечек,
Последние часы мои...

Все ближе смерть. И все короче
Томительные к ней пути.

## 67

Мы так устали от слов и дела,
И, правда, остался только страх...
Вспорхнула птица и улетела,
Что же, — лови ее в облаках!

Первые дни и первые встречи
Оставили только след золотой...
Я помню, был блаженный вечер,
Иду, — а домик давно пустой.

Лишь солнце плывет над грустным миром,
Где забыть, — забыть ничего нельзя,
Этих грязных ночей в хулиганских трактирах,
Где кто-нибудь вдруг среди песен и пира
Встает: «Здравствуй, смерть моя!»

## 68

Летят и дни, и тревоги...
Все ниже головы склоненные.
Заносит ласковым снегом
Ветер улицы пустынные.

А кто придет, кто остановится,
Заглянет в окошко разрисованное,

Кто, к стеклу прильнув, подивится
На ясные складки савана?

## 69

*Георгию Иванову*

Но, правда, жить и помнить скучно!
И падающие года,
Как дождик, серый и беззвучный,
Не очаруют никогда.

Летит стрела... Огни, любови,
Глухие отплески весла,
Вот, — ручеек холодной крови,
И раненая умерла.

Так. Близок час, — и свет прощальный
Прольет вечерняя заря.
И к «берегам отчизны дальней»
Мой челн отпустят якоря.

## 70

Вышел я на гору высокую,
Вышел, — глянул в бездну глубокую
И гляжу.

Тишина, о ширь голубая,
Трудно я из дальнего края
К тебе прихожу.

Но любовь! Любовь обманула,
Это молния взвилась, блеснула, —
Где она?

Помню, люди — в норах, что мыши,
И над бедной железной крышей
Стоит луна.

Все прошло... И я теряю,
Все, что видел и все, что знаю,
Мать моя!

Мать моя, нежная пустыня,
Высоким своим покровом синим
Покрой меня!

## Из сборника «ЧИСТИЛИЩЕ» (1922)

---

### 71

Звенели, пели. Грязное сукно,
И свечи тают. «Ваша тройка бита.
Позвольте красненькую. За напиток
Не беспокойтесь». И опять вино,

И снова звон. Ложится синий дым.
Все тонет — золото, окно и люди,
И белый снег. По улицам ночным
Пойдем, мой друг, и этот дом забудем.

И мы выходим. Только я один,
И ветер воет, пароходы вторят.
Нет, я не Байрон, и не арлекин,
Что делать мне с тобою, сердце-море?

Пойдем, пойдем... Ни денег, ни вина.
Ты видишь небо, и метель, и трубы?
Ты Музу видишь, и уже она
Оледеневшие целует губы.

*1916*

## 72. ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

Звенит гармоника. Летят качели.
«Не шей мне, матерь, красный сарафан».
Я не хочу вина. И так я пьян.
Я песню слушаю под тенью ели.

Я вижу город в голубой купели,
Там белый Кремль — замоскворецкий стан,
Дым, колокольни, стены, царь-Иван,
Да розы и чахотка на панели.

Мне грустно, друг. Поговори со мной.
В твоей России холодно весной,
Твоя лазурь стирается и вянет.

Лежит Москва. И смертная печаль
Здесь семечки лущит, да песню тянет,
И плечи кутает в цветную шаль.

*1917*

## 73

Тогда от Балтийского моря
Мы медленно отступали
По размытым полям... Звезды
Еще высоко горели,
Еще победы мы ждали
Над императором немецким,
И холодный сентябрьский ветер

Звенел в телеграфных нитях
И глухо под тополями
Еще шелестел листвою.
Ночь. Зеленые ракеты
То взлетали, то гасли в небе,
Лай надтреснутый доносился
Из-за лагеря, и под скатом
Робко вспыхивала спичка.
Тогда — еще и доныне
Мне виден луч синеватый, —
Из мглы, по рядам пробираясь,
Между смолкнувших пулеметов,
Меж еще веселых солдат,
Сытых да вспоминающих
Петербургские кабаки,
Пришла, не знаю откуда,
Царица неба — Венера,
Не полярным снегом одета,
Не пеной Архипелага,
Пришла и прозрачною тенью
У белой березы стала.
Точно сон глубокий спустился
Покровом звездным. Полусловом
Речь оборвалась, тяжелея
Руки застыли... Лишь далекий
Звон долетел и замер. Тихо
Я спросил: «царица,
Ты зачем посетила лагерь?»
Но безмолвно она глядела
За холм, и мне показалось,
Что вестницы смерти смотрят

Так на воинов обреченных,
И что так же она смотрела
На южное, тесное поле,
Когда грудь земли пылала
Златокованными щитами,
Гул гортанного рева несся,
Паруса кораблей взлетали,
И вдали голубое море
У подножия Трои билось.

*1919*

## 74

О мертвом царевиче Дмитрии
И о матери его, о стрельцами
Зарезанных в Кремле, быть может,
О разбойнике, на большой дороге
Убитом в драке, о солдате,
Забытом в поле, и даже
О тех, кто ветреной ночью
Цеплялись за мерзлые канаты
Тонущей «Лузитании»
И, уже онемев, смотрели
На темное, жадное море,
Каждое утро и каждый вечер,
И ночью, привстав на кровати,
Кто-нибудь умоляет Бога
Прощение дать и блаженство.

Помяни же и человека,
Который в Угличе не был,

Убийц не просил о пощаде
И плеска Марны не слышал,
И льдистых громад не видел,
Но уже семнадцатой ночью,
Не дыша и не двигаясь, в доме,
Занесенном до крыши снегом,
Смотрит на тихий месяц
И пересохшими губами
Повторяет имя Александра.

1920

### 75

О, жизнь моя! Не надо суеты,
Не надо жалоб, — это все пустое.
Покой нисходит в мир, — ищи и ты покоя.

Мне хочется, чтоб снег тяжелый лег,
Тянулся небосвод прозрачно-синий,
И чтоб я жил, и чувствовать бы мог
На сердце лед и на деревьях иней.

*1920*

### 76

Когда, в предсмертной нежности слабея,
Как стон плывущей головы,
Умолкнет голос бедного Орфея
На голубых волнах Невы,

Когда, открывшись италийским далям,
Все небо станет голубеть,
И девять Муз под траурным вуалем
Придут на набережной петь,

Там, за рекой, пройдя свою дорогу
И робко стоя у ворот,
Там, на суде, — что я отвечу Богу,
Когда настанет мой черед?

*1919*

**77**

По темно-голубому небу мчались
Крутые облака. Дул ветер южный,
Клубя густую пыль. На тротуарах
Теснились люди. Темными рядами,
Сверкая сталью, конные войска
Тянулись неподвижно. Крик нестройный
Рожком летящего автомобиля
Прорезывался изредка. Разносчик
Толкался, предлагая апельсины
И грязные орехи. Вдруг пронесся
По улице широкой и пустой
Карьером офицер какой-то, шарфом
Как бы давая знак, и тишина
Сменила сразу гул и общий говор,
И долго слышался лишь стук короткий
Копыт о гладкие торцы. Потом
Опять все смолкло, даже облака

Как бы застыли в небе. Я спросил
У старика, который под стеною
Стоял не шевелясь, зачем собралось
Все это множество людей. С усильем
Остановил на мне он тусклый взгляд
И прошептал чуть слышно: «Император».
И стал я ждать. Часы тянулись, или
Минуты лишь, — не помню я... Никто
Тогда уж не был в силах помнить время.
И вдруг протяжно, будто бы на дне
Огромной пропасти, запели трубы,
И медь литавров дрогнула, и белый
Дымок взвился до неба, и знамена
Под звон победоносной Марсельезы
Поникли до земли, как золотые
Лохмотья славы... И невдалеке
Увидел человека я. Под ним
Ступал неторопливо белый конь,
И, отступя шагов на двадцать, шла
В тяжелых, кованых мундирах горсть
Каких-то пышных всадников. Но он
Был в сером сюртуке и треугольной
Потертой шляпе... О, и твердь, и воды,
И ротозеи, и солдаты, — все
Преобразились в миг, и миллионы
Расширенных, горящих, жадных глаз
Его черты ловили. Сжав поводья,
Он ехал, и, казалось, тяжесть сна
Еще не мог он сбросить, и не мог
Пошевелить рукой... Сто лет, сто дней
Как бы туман стояли. Перед ним

Арколь дымился где-то, иль Париж
Кровавый буйствовал, иль в нашем солнце
Узнать хотел он солнце Аустерлица,
Иль слышался ему унылый гул
И плеск ленивых волн у скал Елены,
Не знаю я, но безразличный взгляд
Не замечал, казалось мне, ни зданий,
Ни памятников, ни полков, ни даже
Трехцветных флагов... Ширясь и растя,
Как у архангелов, гремели трубы
О славе мира, лошадь тяжело
И медленно ступала, и не смел
Никто ни двинуться, ни молвить слова.
Когда ж за красной аркой Император
Скрываться стал, и, точно обезумев,
За ним толпою побежали люди,
Сбивая и давя друг друга, — я
За тенью исчезающей его
Лишь в силах был следить, и мне подобных
Немало было... Помню, вечерело,
И был неярко озарен весь город
Бледно-зеленым заревом заката,
Сиявшим над Адмиралтейством.

*1916*

## 78

За миллионы долгих лет
Нам не утешиться... И наш корабль, быть может,
Плывя меж ледяных планет,
Причалит к берегу, где трудный век был прожит.

Нам зов послышится с кормы:
«Здесь ад был некогда, — он вам казался раем».
И силясь улыбнуться, мы
Мечеть лазурную и Летний сад узнаем.

Помедли же! О, как дышать
Легко у взморья нам и у поникшей суши!
Но дрогнет парус, — и опять
Поднимутся хранить воспоминанья души.

*1918*

## 79. ВАГНЕР. I

Падает снег, звенят телефоны,
Белое небо глядит в окно,
Небо, — совсем полотно
Над крышей, трубой, ржавой, зеленой.

Есть только смерть, — ни любви, ни веры.
Что мне с ними делать теперь?
Придет, постучится в дверь,
Тихо качнет муфтой серой.

Смотри — суббота. Конец в воскресенье.
Белое небо бьет в окно,
Ко мне прильнуло оно.
Надежда? Надежда? Покой? Спасенье?

Нет спасения, нет покоя,
Изольда, я тебя любил,

Изольда, я все забыл,
Останься, побудь со мною.

Останься, побудь! Дьячки, поклоны,
Не страшно, — розы к ногам,
А там, — дальше и там
Календарь, снег, телефоны.

*1916*

## 80

Опять гитара. Иль не суждено
Расстаться нам с унылою подругой?
Как белым полотенцем бьет в окно
Рассвет, — предутренней и сонной вьюгой.

Я слушаю... Бывает в мире боль,
Бывает утро, Петербург и пенье,
И все я слушаю... Не оттого ль
Еще бывает головокруженье?

О, лошадей ретивых не гони,
Ямщик! Мы здесь совсем одни.
По снегу белому куда ж спешить?
По свету белому кого любить?

*1917*

## 81

Еще и жаворонков хор
Не реял в воздухе, луга не зеленели,
Как поступь девяти сестер
Послышалась, нежней пастушеской свирели.

Но холодно у нас. И снег
Лежит. И корабли на реках стынут с грузом.
Под вербой талою ночлег
У бедного костра едва нашелся Музам.

И, переночевав, ушли
Они в прозрачные и нежные долины,
Туда, на синий край земли,
В свои «фиалками венчанные» Афины.

Быть может, это — бред... Но мне
Далекая весна мечтается порою,
И трижды видел я во сне
У северных берез задумчивую Хлою.

И, может быть, мой слабый стих
Лишь оттого всегда поет о славе мира,
Что дребезжит в руках моих
Хоть и с одной струной, но греческая лира.

*1921*

## 82

На окраине райской рощи
У зеленоструйной воды
Умоляет Ороль Беляра:
«О, любимый, не улетай!»

Отвечает Беляр Оролю:
«Жди меня у реки Тале.
У людей я три дня пробуду
И в четвертую ночь вернусь».

Безутешен Ороль. «Навеки
Я с тобою!» — сказал Беляр,
И пылающими губами
Он Ороля поцеловал.

Через синие океаны
Метеором летел Беляр
И на землю вышел в цилиндре,
В лакированных башмаках.

Был до вечера он в Париже,
И в огромном цирке ему
Улыбнулась из ложи дама
С черным страусовым пером.

Через час он теплые плечи
Медом пахнущие сжимал
И, задыхаясь от блаженства,
Еле слышно сказал : «Ороль!»

Ночь редела... Два дня до срока.
На рассвете летел Беляр
Через синие океаны
Метеором в далекий рай.

Тридцать ангелов в темных ризах
Над рекою Тале стоят.
«Где Ороль?» — их, изнемогая,
Тихо спрашивает Беляр.

Но окованы страхом хоры.
Лишь один архангел мечом
На полупрозрачное тело
Бездыханное указал.

«Небывалое совершилось.
Здесь Ороль, — отвечает он.
Но душа его отлетела
Даже Бог не знает куда».

*1921*

## 83

Тридцатые годы, и тени в Версали,
И белая ночь, и Нева,
И слезы о непережитой печали,
И об утешенье слова,

Ну, что ж, — сочинять человеку не трудно,
Искусство покорно ему,
Но как это жалко, и как это скудно,
И как не нужно никому!

И я говорю: — не довольно ль об этом?
Что дальше — закрыто от всех,
Но знаю одно, — притвориться поэтом
Есть смертью караемый грех.

Поэт — не мечтатель. И тем безнадежней,
И горестней слов ищет он,
Чтоб хоть исказить свой торжественно-нежный
И незабываемый сон.

*1921*

## 84

Печально-желтая луна. Рассвет
Чуть брезжит над дымящейся рекою,
И тело мертвое лежит... О, бред!
К чему так долго ты владеешь мною?

Туман. Дубы. Германские леса.
Печально-желтая луна над ними.
У женщины безмолвной волоса
Распущены... Но трудно вспомнить имя.

Гудруна, ты ли это?.. О, не плачь
Над трупом распростертого героя!
Он крепко спит... И лишь его палач
Нигде на свете не найдет покоя.

За доблесть поднялась его рука,
Но не боится доблести измена,

И вот лежит он... Эти облака
Летят и рвутся, как морская пена.

И лес, и море, и твоя любовь,
И Рейн дымящийся, — все умирает,
Но в памяти моей, Гудруна, вновь
Их для чего-то время воскрешает.

Как мглисто здесь, какая тишина,
И двое нас... Не надо утешенья!
Есть только ночь. Есть желтая луна,
И только Славы и Добра крушенье.

*1921*

## 85

Там вождь непобедимый и жестокий
Остановился огненной стеной...
Стоит туман. Стоит звезда на востоке.
О, Русь, Русь, — далеко она за горой.

Ты на землю лег, сказал: «Надо молиться!
Мой первый бой сегодня». И сквозь туман
Не поднялась над лесом черная птица,
Под облака метнулся аэроплан.

«Тише, тише! Вы видите, солнце село,
Теперь уж скоро нам придут помочь.
Милостив Бог!» И только река шумела,
Да пашню и лес душила темная ночь.

Когда ж стемнело совсем, совсем, и ангел,
И ангел — мы видели! — нас закрыл рукой,
Маккензен вдруг двинул с холма фаланги
Прямо на лагерь, заснувший над рекой.

Огонь, огонь! Я верно в сердце ранен,
А ты вскочил на белого коня
И вдруг качнулся тихо... Ваня, Ваня,
Ты видишь еще, ты слышишь еще меня?

Боже мой, Боже, за что ты нас оставил,
За что ты нас так страшно покарал?
Не видно труб и крестов пустой Варшавы,
Далеко до полуночи, далеко до утра,

И уж рушится все... Лишь вокруг, по склонам
и долам,
По траве, по реке, по зеленым речным берегам
Поднимаются к небу стоять перед райским престолом
Тени людей, отстоявших земным царям.

*1916*

## 86. РОСМЕРСГОЛЬМ

Темнеют окна. Уголь почернел.
Не в страсти жизнь, а в истинной свободе.
По кабинету от стены к стене
Лунатики, ломая руки, бродят.

Кипит неутолимый водопад,
И мостик еле видный перекинут,

Чтоб те, кто в доме стонут и горят,
Упали в серебристую стремнину.

Любовь, любовь... Слабеет голова,
Все о политике бормочут люди,
Все повторяют грубые слова,
Что в этом доме радости не будет,

А в этом доме будет тишина,
Как над пустыми фьордами бывает,
Когда огромным фонарем луна
Полярных птиц и море озаряет.

*1916*

## 87

Холодно. Низкие кручи
Полуокутал туман.
Тянутся белые тучи
Из-за безмолвных полян.

Тихо. Пустая телега
Изредка продребезжит.
Полное близкого снега
Небо недвижно висит.

Господи! И умирая,
Через полвека, едва ль
Этого мертвого края
Я позабуду печаль.

*1920*

## 88. ВАГНЕР. II

Туман, туман... Пастух поет устало.
Исландский брег. И много лебедей.
«Где ты теперь? Белей, корабль, белей!
Придешь ли ты ко мне, как обещала?»

Так, медленно, Надежда умирала,
И тенью Верность реяла над ней,
Еще цепляясь за гряды камней,
И бархат горестный немого зала.

Так, в медной буре потрясенных труб
Еще о нежности звенели струны,
И бред летел с похолодевших губ,

И на скале, измученный и юный,
Изнемогая от любви и ран,
Невесту, как виденье, ждал Тристан.

*1918*

## 89

Я влюблен, я очарован
*Пушкин*

Проходит жизнь. И тишина пройдет,
И грусть, и по ночам тревога,
Но, задыхаясь, нежность добредет,
Без сил до смертного порога...

Так он не вскрикнул и не поднял глаз,
Веселого не молвил слова,
Когда комета встала в первый раз
В шелку багровом — Гончарова.

Но рокот арф, ночь, и огни, и бал, —
Все говорило: нет спасенья.
И понял он, и мне он завещал
Тот блеск кровавый и мученье.

## 90

Гуляй по безбрежной пустыне
Под нежные трубы зари,
Пей воздух соленый и синий,
На синие волны смотри.

Пусть остров и радуга снится,
А если наскучили сны,
Не девушка, нет — Царь-девица
Придет из хрустальной страны.

Но это не жизнь. И когда же
Над бледно-неверной волной
Ты парус опустишь и скажешь
«Довольно. Пора и домой»?

*1916*

## 91

Качается фонарь. Белеет книга.
По вышитым подушкам бледный свет,
И томный вздох: «Ах, как люблю я Грига,
Ах, как приятен этот менуэт».

Но белым клавишам роняя думы,
Любовь свою и домыслы свои,
Ты слышишь ли, каким унылым шумом
Они, желанные, заглушены?

*1918*

## 92. ПО МАРСОВУ ПОЛЮ

Сияла ночь. Не будем вспоминать
Звезды, любви, — всего, что прежде было.
Пылали дымные костры, и гладь
Пустого поля искрилась и стыла.

Сияла ночь. Налево над рекой
Остановился мост ракетой белой.
О чем нам говорить? Пойдем со мной,
По рюмке коньяку, да и за дело.

Сияла ночь. А, может быть, и день,
И, может быть, февраль был лучше мая,
И заметенная, в снегу, сирень,
Быть может, шелестела, расцветая,

Но было холодно. И лик луны
Насмешливо смотрел и хмурил брови.
«Я вас любил... И как я ждал весны,
И роз, и утешений, и любови!»

Ночь холодней и тише при луне.
«Я вас любил. Любовь еще, быть может...»
— Несчастный друг! Поверьте мне,
Вам только пистолет поможет.

*1918*

## 93—95

*В. Ф<утлину>*

### I

О, сердце, не бейся, не ной,
Опять эти ночи со мной,
И снова в пустое окно
Смотрю я, — и мне все равно.

Я помню: костры, облака,
И вдруг под мехами рука
Чуть тронула руку мою
(Как милостыню подают)

И только... И три долгих дня
В испуганной памяти я
Не счастье свое берегу,
А снег и костры на снегу.

## II

Все понимаю, все — одно сиянье,
Снег, облака, костров тяжелый свет,
И дым на улицах. Что состраданье!
Но и тебе, мой друг, прощенья нет.

За тихий смех «я завтра уезжаю»,
И уезжай! — дорога-то легка —
За утешения, за то, что знаю,
Как нищая душа твоя жалка.

## III

Четвертый раз над этой жизнью
(Как солнце, утром в ноябре)
Сияет свет, и дни проходят
Чуть озаренные огнем.

Не страшно и совсем не больно
Смотреть в холодные глаза
И говорить: «люблю навеки»
И равнодушно забывать.

Но, правда, вечерами страшно,
Когда останешься один,
Считать года и сердце слушать,
Как тихо старится оно.

*1917*

## 96

За стенами летят, ревут моторы,
Ложится снег и фонари горят,
И хочется домой. Но, верно, скоро
Погаснет свет и люди замолчат.

В полупустом театре, чуть белея,
У дымно-белых, как луна, ворот
Стоит прозрачной тенью Саломея
И с отвращеньем голову берет.

И ей, в снегу холодном и в разлуке
С халдейским небом, с голубой звездой,
Что радости ей наши или муки,
Иль сноба лондонского сон тупой?

*1918*

## 97

Еще, еще немного краски синей
Над ветками, где стонет соловей
Фарфоровый, и в облаках пришей
Луну печальную на парусине.

Повеял ветер, и деревья гнутся,
И никнут лилии, снегов белей...
Ты кончил ли? Так позови людей,
Пусть очаруются, пусть улыбнутся!

*1916*

## 98. 1801

— Вы знаете, — это измена!
Они обманули народ.
Сказал бы, да слушают стены,
Того и гляди донесет.

Ах, нет! Эти шумные флаги,
Вы слышите, этот набат
Широкий... Гвардейцев к присяге
Уже повели, говорят.

Ведь это не тучи, а клочья
Над освобожденной Невой...
Царь Павел преставился ночью,
Мне все рассказал часовой.

Был весел, изволил откушать,
С царицей шутил, — через час
Его незлобивую душу
Архангелы взяли от нас.

Вы знаете, эти улики
Пугают, — до самого дня
Рыдания слышались, крики
В окне голоса, беготня...

Россия! Что будет с Россией!
Как страшно нам жить, как темно!
— Молчите. Мгновенья такие
И вспомнить другим не дано.

*1916*

## 99

Жизнь! Что мне надо от тебя, — не знаю.
Остыла грусть, младенчества удел.
Но так скучать, как я теперь скучаю,
Бог милосердный людям не велел.

И если где-нибудь живет и дышит,
Тот, кто навек назначен мне судьбой,
Что ж не приходит он ко мне, не слышит
Еще не ослабевший голос мой?

Лишь два огромных, черных, тусклых глаза
И два огромных, траурных крыла
Тень бросили от синих гор Кавказа
На жизнь мою и на мои дела.

*1920*

## 100

Едва расслышу я два-три последних слова,
Едва взгляну на бледный лоб,
И все, и навсегда, недвижно и сурово
Под пеленою скроет гроб.

И страшен оттого мне каждый час разлуки,
И грустно день за днем встречать,
И руки тянутся, беспомощные руки
Блаженство наше удержать.

*1921*

## 101

«Еще, еще минуточку,
Повремени, палач!»
Поймали в сети уточку,
Не вырвешься, — хоть плачь.

Шумит толпа веселая,
Сияют небеса.
Стальная и тяжелая
Над головой коса.

Три быстрых взмаха молота,
Минута... Отче наш!
Что счастье, слава! Золото, —
И купишь, и продашь.

Но за пустой околицей,
На чердаке, в глуши,
Чиновник пьяный молится
За упокой души,

Семи царей возлюбленной, —
Не помогли цари! —
Семью грехами сгубленной
Графини Дюбарри.

*1918*

## 102. ПЕСНЯ

Ах, весна, ах прекрасное лето,
Ах, сияние светлого дня!
Друга милого в городе нету,
Он надолго покинул меня.

Целовальник божится в трактире,
Что, кого не помиловал суд,
Поселяют в далекой Сибири
Или даже в Манчжурью везут.

Оттого-то я слышу ночами,
Льют железо, ломают гранит,
Вижу, друг мой с моими врагами
В арестантском халате стоит.

Постаревший в неволе и в муке,
Похудевший от дыма и мглы,
Поднимает он белые руки,
А на белых руках кандалы.

Ах, сестра, золотая гитара,
Что нам делать с тобой, — прозвени!
У окна, да над шумным бульваром,
Да в такие-то ясные дни?

*1916*

## 103

Им счастие даже не снится,
И их обмануло оно.
Есть в мире лишь скука. Глядится
Скучающий месяц в окно.

Пьют чай, разбирают газеты,
Под долгие жалобы вьюг,
И думают, думают: «Где ты,
Теперь, мой забывчивый друг?»

*1919*

## 104. БОЛЕЗНЬ

В столовой бьют часы. И пахнет камфарой,
И к утру у висков еще яснее зелень.
Как странно вспоминать, что прошлою весной
Дымился свежий лес и вальдшнепы летели.

Как глухо бьют часы. Пора нагреть вино
И поднести к губам дрожащий край стакана.
А разлучиться всем на свете суждено,
И всем ведь кажется, что беспощадно рано.

Уже не плакала и не звала она,
И только в тишине задумчиво глядела
На утренний туман и в кресле у окна
Такое серое и гибнущее тело.

*1916*

## 105

Как дымный парус, жизнь моя
Уходит, и туман редеет.
Уже над морем вечереет,
А нет навстречу корабля.

Уже над морем тишина.
И солнце тихо потонуло.
Чернеют в сумраке акулы
Вокруг разбитого судна.

Что жадным ветер обещает?
Иль слушают теперь они,
Как синий берег и огни
Матрос в бреду припоминает?

*1916*

## 106

— Поскучай, дружок, поскучай, —
Где же вольные твои небеса?
Вот у нас сапфиры, парча,
Кинематограф и бега.

— Я давно ничего не ищу,
И давно ничего не люблю,
И зачем напомнил мне ты
Про былые мечты мои?

Не хочу любви и вина,
Незнакомок, чахлых озер,
Потому что все — суета,
Все будет один костер.

Ты останься со мною, грусть,
И белая Венера-звезда,
А людей не хочу... Пусть
И они забудут меня.

*1916*

## 107

Тихо, мирно мы теперь живем
И не ссоримся. Сидим за чаем.
Утром соловей поет, потом
Граммофон. И все-таки скучаем.

— Это поле — помнишь? — Ватерло?
Эти крики — слышишь? — Брабансона...
Господи! как тихо, как тепло,
Как здесь душно, в этой клетке темной...

После ночь. И лучше помолчать,
Правда, лучше. И ведь надо силы,
Чтобы завтра новый день начать,
Утомительный такой и милый.

*1918*

## 108

Девятый век у северской земли
Стоит печаль о мире и свободе,
И лебеди не плещут. И вдали
Княгиня безутешная не бродит.

О Днепр, о солнце, кто вас позовет
По вечеру кукушкою печальной,
Теперь, когда голубоватый лед
Все затянул, и рог не слышен дальный,

И только ветер над зубцами стен
Взметает снег и стонет на просторе,
Как будто Игорь вспоминает плен
У синего, разбойничьего моря?

*1916*

## 109

Я думал: вся земля до края —
Цветы, моря, степная ширь.
Теперь я знаю: есть глухая
И тихая страна — Сибирь.

Я думал: жизнь — изнеможенье
Тревожно-радостных ночей,
Теперь я знаю: есть терпенье,
Есть окрик пьяных сторожей.

Над нами небо голубое,
Простые птицы, облака,
Так сердце учится покою
И учится труду рука.

Уже о прошлом не жалея,
Не помня, может, — я и ты
Глядим на пену Енисея
И сосен тонкие кресты.

*1916*

## 110

Проходил под лесами. Кирпич
Вдруг сорвался, будто играя...
Вот и кончено все... Спи!
Это лучшее, что бывает.

Каждый день проносят гроба, —
Что здесь было, что еще будет?
Точно ястреб степной судьба,
А добыча скудная — люди.

Но, забившись под крыши, вновь
И поют, и в шашки играют,
И зовут иногда, любовь,
Тебя. Потом умирают.

Спаси, Господи, люди твоя.
Царь наш милостивый и далекий,

Покажи им Твои поля,
С тишиною и солнцем легким.

*1916*

## 111

Не в книге прочесть и не в песнях узнать
Об этом, — Бог с ними со всеми, —
Но смуглые руки поцеловать
Настанет мне все-таки время.

И будет минута, когда я пойму
Нестройных судеб совершенство,
И жизни «Помедли, — скажу, — потому
Что имя твое — блаженство».

*1922*

## 112

Нам в юности докучно постоянство,
И человек, не ведая забот,
За беглый взгляд и легкое убранство
Любовь свою со смехом отдает.

Так на заре веселой дружбы с Музой
Неверных рифм не избегает слух,
И безрассудно мы зовем обузой
Поэзии ее бессмертный дух.

Но сердцу зрелому родной и нежный
Опять сияет образ дней живых,
И точной рифмы отзвук неизбежный
Как бы навеки замыкает стих.

*1921*

## 113

Когда,
Забыв родной очаг и города,
Овеянные ветром южным,
Под покрывалом, ей уже не нужным,
Глядела на Приамовы стада
Рыжеволосая Елена,
И звонкоплещущая пена
Дробилась о смолистое весло,
И над волнами тяжело
Шел издалека гулкий рев: «измена».
Где были мы тогда,
Где были
И я, и вы?
Увы.

Когда,
У берега Исландского вода
С угрюмым шумом билась,
И жалобная песня уносилась
От обнаженных скал туда,
Где медлила вечерняя звезда,
По глухоропщущим лесам и по льду,

Когда корабль на парусах белей,
Чем крылья корнуэльских лебедей,
Нес белокурую Изольду,
Где были мы тогда,
Где были
И я, и вы?
Увы.

*1920*

### 114

Устали мы. И я хочу покоя,
Как Лермонтов, — чтоб небо голубое

Тянулось надо мной, и дрозд бы пел,
Зеленый дуб склонялся и шумел.

Пустыня-жизнь. Живут и молят Бога,
И счастья ждут, — но есть еще дорога:

Ничто, мой друг, ничто вас не спасет
От темных и тяжелых невских вод.

Уж пролетает ветер под мостами
И жадно плещет гладкими волнами,

А вам-то, друг мой, вам не все ль равно,
Зеленый дуб или речное дно?

*1917*

## 115

Заходит наше солнце... Где века
Летящие, где голоса и дали?
Где декорации? Уж полиняли
Земные пастбища и облака.

И я меняюсь. Падает рука
Беспомощно, спокойны мысли стали,
Гляжу на эту жизнь, — и нет печали,
И чужд мне даже этот звук: тоска.

Но все ж я не подвластен разрушенью.
Порою мир одет прозрачной тенью,
И по ночам мне страшно иногда,

И иногда мне снится голубое
И плещущее море, и стада
У берега моей родимой Трои.

*1919*

## 116. ВОЛОГОДСКИЙ АНГЕЛ

### I

Царь Христос, побудь с нами, Царь Христос,
ты нам помоги,
Не прожить нам в этом мире, одолели нас враги.
Солнце, солнце в вольном небе, как фонарь,
гори и пылай,
Озари по грехам и горю путь далекий в небесный
рай!

Что, Алеша, о чем ты просишь? Лучше б в городе
погулял.
Пелагея Львовна сына от уныния берегла.
Тихо рос он, один, играя с собачонкою у пруда,
Или серый замок из глины с трехоконной башней
лепил.
А теперь, не ребенок боле, — восемнадцатый год
пошел —
Как береза у опушки, все тянулся и молчал.
Иногда за огороды уходил и там, у реки,
На широком и теплом камне, будто мертвый,
в небо глядел.
Тихо стелются Божьи реки, воздух северный
чист и свеж,
Тихо облако в небе тает, точно ангельская душа.
Возвращался. Пылили овцы. Уж над лесом стоит
звезда.
«Что ты, рыбу ловил, что ли?» У подгнившего
плетня
Пелагея Львовна сидела и, скучая, сына ждала.
«Нет, я в поле был, мама», — отвечал он и
шел к себе.
И потом, сквозь щелку двери, до полуночи иногда
Было видимо мерцанье восковой дрожащей свечи.
«Что ж, молитва угодна Богу, только странно
это мне,
В эти годы!» А Алеша, улыбаясь, слушал мать.
Ой, весна, ой, люди-братья, в небе серые облака,
Ой, заря над лесом, ветер — все в темнице
Господней мы!
Белый город Вологда наша, на окраине тишина,
Только стройный звон колокольный,
да чирикают воробьи.

Вьется речка, блестит на солнце, а за речкой лес,
холмы.
За холмами мир вольный, — но Алеша не знал
о нем.
Знал пустое, — что соседка продала на базаре кур,
А уряднику на почте заказное письмо лежит.
Да и Пелагея Львовна не умнее сына была,
Не в гимназии училась — у Воздвиженской
попадьи.
Всякий люд идет дорогой, — проезжают
в тройках купцы,
И с котомками богомольцы, и солдаты на войну.
Из обители далекой к Троице-Сергию инок шел,
Попросил приюта в доме, отдохнуть и хлеба кусок.
В мае ночи коротки, белы, стихнет ветер, небо горит
И плывет звезда-Венера по сиящим морям.
Все о доле монастырской, о труде монах говорил,
А Алеша о мире думал и заснуть потом не мог.
Что за жизнь! Заря, сосны, золотые колокола.
Уходя, утешил инок Пелагею Львовну, сказал:
«Сын ваш чист и душой, и телом... Тщитесь, матерь,
его сберечь».
А она лишь улыбнулась — «Знаю,
славный мальчик он,
Неиспорченный он и скромный, — только
ведь не помощник мне!»
И не знала, не угадала в материнском сердце своем,
Что врата грядущей печали ей захожий монах
открыл.

## II

Был напротив через канаву с голубыми ставнями
дом,
Пустовал пять лет, а ныне и ему нашелся жилец.
Из Москвы Ильина-купчиха наняла за пятьсот
рублей,
И малиновый сад при доме, доходивший до реки.
Не понравилась купчиха в околотке никому,
Было гордости в ней много, не ответит и на поклон,
Говорят, из Москвы бежала от суда и славы плохой,
Мужа там зарезала, что ли, и любовников завела.
Непонятны дела на свете, начала теперь замечать
Пелагея Львовна, будто веселее Алеша стал.
Подойдет вдруг, поцелует, говорит, что жить хорошо,
А однажды — и вспомнить дивно! —
«Очи черные» он запел,
И все чаще, и все дольше пропадал, гуляя в полях.
Раз обмолвилась о купчихе, а Алеша и покраснел,
И сказал: «Не надо, мама, осуждать». И смутясь
ушел.
С той поры Пелагея Львовна стала спрашивать
и следить,
Не беседует ли мальчик с Ильиною —
храни Господь! —
И куда он исчезает, где скитается по часам.
Вечер теплый был, ясный, пели жаворонки в полях,
Розовело над лесом небо, будто рая горнего брег.
Под забором, таясь в бурьяне и в сиреневых кустах,
Пелагея Львовна тихо подглядеть за сыном шла.
И увидела: Алеша у широких белых берез
Под холмом остановился, озираясь по сторонам.

Из глухого переулка, не скрываясь и не спеша,
Вышла женщина, — Алеша ей навстречу побежал,
А она его лениво потрепала по плечу,
За собою в лес темный по тропинке увела
Шалью черною покрыта и далеко, не разглядеть,
Но хмельную шалую поступь и движения белых рук
Пелагея Львовна знала. И с тревогой в сердце она
На закат и лес глядела, будто райский огненный
брег.
Уж во тьме пришел Алеша, через кухню
к себе прошел.
Даже матери доброй ночи перед сном не пожелал,
А она, сама не зная, как ей к делу приступить,
Фитилек вошла поправить у «Спасителя на водах»,
«Поздно, мама, ты легла бы!» Покачала головой
И на сына она взглянула — «Ах, Алеша, не хороши
От родимой матери тайны. Ты, Алеша, это брось».
Рассердилась потом и долго — уж совсем начало
светать —
Слезы горькие утирала о сиротской доле своей,
А Алеша лежал. И молча он укоры слушал ее,
Только раз вздохнул: «Мама! Ты ее не осуждай».
Но когда, устав от жалоб, Пелагея Львовна ушла,
На крючок закрыл он двери в свою комнату, и там
Было слышно — помощи молит — «Царь Христос,
прости меня!
Царь Христос, меня помилуй и что делать мне,
научи».
И, подслушав слова такие, Пелагея Львовна совсем
Успокоенная заснула, — нет, Алеша добрый сын,
И ей снилось, что Алеша уже вырос, богатым стал
И на площади у собора зеленную лавку открыл.

## III

Снова к вечеру посвежело, снова мальчик
гулять пошел
В поле. Может быть, и в рощу, — только видела,
что один.
Что же — лето на исходе, отчего не погулять,
Может, также и знакомство благородное свести.
Очень поздно. Нет Алеши. Уж десятый час пробил.
И совсем стемнело. Странно, — где теперь
ему пропадать.
А у Ильиной напротив ставни сторож давно
закрыл,
Значит, дома озорница, верно, картами занята,
Подглядеть в окошко можно. Пелагея Львовна
пошла
Через дорогу, озираясь, чтоб никто не видел ее.
Залилась дворняжка, звякнул под ногой осколок
стекла,
Три окна широких были в сад малиновый отперты.
Под стеной, на красном диване, низко голову опустив,
И лишь руки перебирая, не дыша Алеша сидел,
А по комнате, как тигрица, в черном платье
и кружевах,
Ильина ходила, будто и не глядя на него.
Сбились косы, на лоб нависли, и румянец —
майский цвет —
Разлился — наверно, красок привезла она
из Москвы.
«Право, вы совсем не мужчина». Напевая, подошла
И к Алеше села, руку на плечо положила ему,
А рука бела, и кольца переливчатые горят.

«Завтра утром я уеду, — как хотите, или здесь
Оставайтесь до снегу, или...» И склонилась вдруг
к нему:
«Что же, любишь, любишь?» Алеша — будто это
и колдовство —
Улыбнулся, голову поднял и ответил тихо: «Люблю».
«Ну, так завтра, на рассвете...» Но не стала
таких речей
Пелагея Львовна слушать, убежала к себе домой,
И со злобой ждала Алешу, и заснула, не дождалась,
И сквозь дрему только помнит, сын к ней в спальню
ночью вошел,
Еле двигаясь, и руками, как юродивый, разводя.
«Что, Алеша?» А он не скоро, будто и совсем
в забытьи,
Подошел: «Но как же, мама, обещание мне забыть?»
Пелагея Львовна даже и ответить не собралась,
Лишь подумала: «надо будет завтра батюшку
позвать»,
А потом опять заснула беспокойным сном она
И под утро слышала, будто кто-то бродит и поет
Песнопения, как бывает, пред отходом души поют,
И калитка скрипит, а, может, это только снится ей,
Иль к соседу больную внучку из Архангельска
привезли.
Встала утром. Нет Алеши. Дверь на улицу отперта.
Рассердилась и с обедом не хотела подождать,
Но Алеша не вернулся, да и к ужину не пришел.
Лишь когда совсем стемнело, Пелагея Львовна вдруг
Поняла, что Ильиною обольщен был мальчик вчера
И с любовницей своею на машину убежал.

Сразу бросилась к купчихе, чуть звонок не оторвала,
И на заспанную девку накричала. — И в ответ
Услыхала, что нет хозяйки, неизвестно ни где она,
Ни когда вернется, — верно, не вернется она совсем.
Тут и стало матери ясно, что Алеша ее обманул,
И на старости одинокой на весь город осрамил.
Дом со свечкою осмотрела, поискала и в саду
Пелагея Львовна, после и к друзьям она пошла.
«Нет, подумайте, родные, не ждала я такой беды».
Кто смеялся, а кто и плакал, но никто не мог
сказать,
Убежала куда купчиха, — надо думать,
что в Москву,
А в Москве дьячков племянник частным писарем
состоит,
Может он найти Алешу, только город ведь большой,
И почтарь, а он ученый, рассудительный человек,
Говорит, американский пароход Алешу увез.
Хлопотала и сердилась Пелагея Львовна, но все
Время долгое умиряет, проскучала четыре дня,
А потом и догадалась, что Господь ее наказал
За грехи и за ропот, а Алеша вернется к ней,
И знакомые навещали, убеждали слез не лить,
А, постившись до Успенья, губернатору написать,
Утешенье — врач искусный, — Пелагея Львовна
опять
Прогуляться вышла в рощу за морошкою и в грибы.

## IV

Вянет поле, трава желтеет, солнце падает в облаках,
И на ветках у опушки переругиваются грачи.
Но в лесу темно, глухо, — только сучья захрустят
Под ногами, да лист мертвый, точно золото, упадет.
Еще слышен звон протяжный, долетают и голоса.
А за вытоптанным оврагом только сумрак
и тишина.
Но грибов совсем немного, лишь опенки да грузди,
Что в них толку? Есть поляна, за Кирилловским
родником,
Там, куда ни оглянешься, все белеют боровики.
Путь далекий, но решила одинокая пойти.
Что сидеть в пустом доме, только грех один, тоска.
Ночь уж близится, над лесом разлилась, как море,
заря,
Но в лесу зари не видно, ветви черные переплелись.
Источает дух прохладный, под листвою преет земля,
И покой нисходит на душу, и врачует ее... И вдруг
Там, за пнями, за белой березой, или, может быть,
в облаках,
Голос легкий вскрикнул — Мама! — и далекий
оборвался.
И такая над темным лесом стала дивная тишина,
Что, казалось, земля томится перед скорой смертью
своей,
И ступить по листьям страшно, страшно двинуться
или вздохнуть.
Удивленно в даль глядела за пригнувшиеся кусты
Пелагея Львовна, будто сон внезапный ее сковал.

Но опять, опять и ближе, и знакомее, и родней
Голос тонкий вскрикнул — Мама! — прозвенел,
как бубенец.
Обмануться не может сердце, не узнать, чей голос
звенит.
«Травы, травы, птицы, деревья, где же мой
возлюбленный сын,
Вы зачем его таите и зачем он меня зовет?»
Свежий шелест прошел по лесу, принагнулись
цветы к земле.
«Подожди, — отвечают травы, — скоро сына
увидишь ты!»
Ночь спустилась, по лощинам зажурчали ночные
ключи,
Под ногами мох тонет, глухари на деревьях спят,
И качаются мерно, тихо, словно снится им ветерок.
Уж и голоса не слышно, не звенит он в тишине,
Только свет далекий мреет, как от белого фонаря.
«Травы, травы, земля, деревья, где же мой
единственный сын,
Вы зачем его схоронили, от меня увели зачем?»
Точно буря ветви рванула, быстро выпрямились
стебли.
«Радуйся, — отвечают травы, — разве сына
не видишь ты?»
За кустами, в облаке снега, как в сияющей пелене,
На груди скрестив руки, улыбаясь, Алеша стоял.
Поглядел на мать, после низко голову наклонил
И пошел вглубь леса над валежником и землей,
И она не удивилась, — это райский снится сон,
Не окликнула, не спросила, за сиянием побрела.

Только все догнать не может, «подожди, сынок,
меня»,
А он тихо, не отвечая, над зеленой мокрой землей,
Будто по морю на веслах, между никлых трав
плывет.
«Ты куда же, сын Алеша, ты зачем от меня
идешь?»
Но уже не слышит Алеша, за деревья уходит он,
За деревья, на поляну, за студеные родники.
Посреди широкой поляны, хмелем зреющим обвита,
Деревянная часовня у сквозной ограды стоит,
И перед ликами святыми пятьдесят лампад зажжено.
За ограду прошел Алеша, на дощатых ступеньках
стал,
Обернулся, поклонился до сырой, зеленой земли,
Поклонился, руки поднял, к небу поднял глаза свои,
И на низкой колокольне зазвенели колокола.
Закачались дубы и сосны, тонкий по лесу льется
звон,
На цветы, на густые травы пала свежая роса,
И звенят, зеленые клонят пред Угодником стебельки,
А заслышав звон далекий, на осыпанный снегом
свет
Из дремучей чащи звери подошли, лисица, волк,
И медведь косматый, ветви раздвигая, захрапел.

V

Мох набухший гниет и вянет, рассветает в темном
лесу,
На высоких дубах белки перескакивают по ветвям

Да проносятся шальные, дождевые облака.
Поднялась и не может вспомнить, где же голос
легкий, и звон,
И сияющая часовня? Только лес вокруг и туман,
Но за муравьиными пнями, под березой,
на мягком мху,
В лужу голову запрокинув, не дыша Алеша лежит
И в прозрачных цепких пальцах деревянный держит
крест.
Подбежала, наклонилась к сыну милому, а он,
Он и зубы уже оскалил, уж совсем окоченел.
Только под вечер вернулась по размытым полям
домой
Пелагея Львовна, долго не могла дороги найти.
Все соседям рассказала, и к протоиерею пошла,
Чтобы завтра у обедни он Алешу бы помянул.
Люди, слушая, сомневались и качали головой,
Нет в лесу ее Алексея, он разгуливает в Москве.
Но когда в горячий полдень на телеге, на двух
конях
Привезли худое тело к покривившемуся плетню,
Умилились сердца людские, слезы частые потекли,
Об Алеше, о мире бедном, утопающем во зле.
Лишь почтарь про свет и звоны даже слушать,
хитрый, не стал,
Все смеялся он — дудки! — а поверить не хотел.

*1916*

## Из сборника
## «НА ЗАПАДЕ»
## (1939)

---

### 117

(У дремлющей парки в руках,
Где пряжи осталось так мало...)
Нет, разум еще на зачах,
Но сердце... но сердце устало.

Беспомощно хочет любить,
Бессмысленно хочет забыться...
(И длится тончайшая нить,
Которой не надо бы длиться).

### 118

Навеки блаженство нам Бог обещает!
Навек, я с тобою! — несется в ответ.
Но гибнет надежда. И страсть умирает.
Ни Бога, ни счастья, ни вечности нет.

А есть облака на высоком просторе,
Пустынные скалы, сияющий лед,
И то без названья... ни скука, ни горе...
Что с нами до самого гроба дойдет.

*<1921>*

## 119

Рассвет и дождь. В саду густой туман,
Ненужные на окнах свечи,
Раскрытый и забытый чемодан.
Чуть вздрагивающие плечи.

Ни слова о себе, ни слова о былом.
Какие мелочи — все то, что с нами было!
Как грустно одиночество вдвоем...
— И солнце, наконец, косым лучом
Прядь серебристую позолотило.

## 120

Летит паровоз, клубится дым.
Под ним снег, небо над ним.

По сторонам — лишь сосны в ряд,
Одна за другой в снегу стоят.

В вагоне полутемно и тепло.
Запах эфира донесло.

Два слабых голоса, два лица.
Воспоминаньям нет конца!

«Милый, куда ты, в такую рань?»
Поезд останавливается. Любань.

«Ты ждал три года, остался час,
Она на вокзале и встретит нас».

Два слабых голоса, два лица.
Нет на свете надеждам конца...

Но вдруг на вздрагивающее полотно
Настежь дверь и настежь окно.

«Нет, не доеду я никуда,
Нет, я не увижу ее никогда!

О, как мне холодно! Прощай, прощай!
Надо мной вечный свет, надо мной вечный рай».

## 121

За все, что в нашем горестном быту,
То плача, то смеясь, мы пережили,
За все, что мы, как слабую мечту,
Не ожидая ничего, хранили,

Настанет искупление... И там,
Где будет кончен счет земным потерям —
Поймешь ли ты? — все объяснится нам,
Все, что мы любим и чему не верим.

*<1922>*

## 122

Ложится на рассвете легкий снег.
И медленно редеют острова,

И холодеет небо... Но хочу
Теперь я говорить слова такие,
Чтоб нежностью наполнился весь мир,
И долго, долго эхом безутешным
Мои стихи носились бы... Хочу,
Чтоб через тысячи глухих веков,
Когда под крепким льдом уснет, быть может,
Наш опустелый край, в иной стране,
Иной влюбленный, тихо проходя,
Над розовым, огромным, теплым морем
И глядя на закат, вдруг повторил
Твое двусложное, простое имя,
Произнося его с трудом...
                                        И сразу,
Бледнее неба, был бы он охвачен
Мучительным и непонятным счастьем,
И полной безнадежностью, и чувством
Бессмертия земной любви.

## 123

Чрез миллионы лет — о, хоть в эфирных волнах! —
Хоть раз — о, это все равно! —
Померкшие черты среди теней безмолвных
Узнать мне будет суждено.

И как мне хочется — о, хоть бессильной тенью! —
Без упоения и мук,
Хоть только бы прильнуть — о, только
                                        к отраженью! —
Твоих давно истлевших рук.

И чтоб над всем, что здесь не понял ум беспечный,
Там разгорелся наконец
Огромный и простой, торжественный и вечный
Свет от слиянья двух сердец.

## 124

Куртку потертую с беличьим мехом
Как мне забыть?
Голос ленивый небесным ли эхом
Мне заглушить?

Ночью настойчиво бьется ненастье
В шаткую дверь,
Гасит свечу... Мое бедное счастье,
Где ты теперь?

Имя тебе непонятное дали.
Ты — забытье.
Или, точнее, цианистый калий —
Имя твое.

## 125

Еще переменится все в этой жизни, — о, да!
Еще успокоимся мы, о былом забывая.
Бывают минуты предчувствий. Не знаешь, когда.
На улице, дома, в гостях, на площадке трамвая.

Как будто какое-то солнце над нами встает,
Как будто над нами последнее облако тает,

И где-то за далью почти уж раскрытых ворот
Один только свет бесконечный и белый сияет.

## 126

Если дни мои милостью Бога
На земле могут быть продлены,
Мне прожить бы хотелось немного,
Хоть бы только до этой весны.

Я хочу написать завещанье.
Срок исполнился. Всё свершено.
Прах — искусство. Есть только страданье,
И дается в награду оно.

От всего отрекаюсь. Ни звука
О другом не скажу я вовек.
Все постыло. Все мерзость и скука.
Нищ и темен душой человек.

И когда бы не это сиянье,
Как могли б не сойти мы с ума?
Брат мой, друг мой, не бойся страданья,
Как боялся всю жизнь его я...

## 127

На Монмартре, в сумерки, в отеле,
С первой встречною наедине,
Наспех, торопливо, — неужели
Знал ты все, что так знакомо мне?

Так же ль умирала, воскресала,
Улетала вдаль душа твоя?
Так же ль ей казалось мало
Бесконечности и бытия?

А потом, почти в изнеможенье,
С отвращеньем глядя на кровать,
Так же ль ты хотел просить прощенья,
Говорить, смеяться, плакать, спать?

## 128

Он еле слышно пальцем постучал
По дымчатой эмали портсигара,
И, далеко перед собою глядя,
Проговорил задумчиво: «Акрополь,
Афины серебристые... О, бред!

Пора понять, что это был унылый,
Разбросанный, кривой и пыльный город,
Построенный на раскаленных скалах,
Заваленный мешками с плоской рыбой,
И что по этим тесным площадям,
Толпе зевак и болтунов чужие,
Мы так же бы насмешливо бродили,
Глядели бы на все с недоуменьем
И морщились от скуки...»

## 129

Граф фон-дер Пален! — Руки на плечах.
Глаза в глаза. Рот иссиня-бескровный.
Как самому себе! Да сгинет страх!
Граф фон-дер Пален! Верю безусловно.

Все можно искупить: ложь, воровство,
Детоубийство и кровосмешенье,
Но ничего на свете, ничего
На свете нет для искупленья

## 130

Невыносимы становятся сумерки,
Невыносимее вечера...
Где вы, мои опоздавшие спутники?
Где вы, друзья? Отзовитесь. Пора.

Без колебаний, навстречу опасности,
Без колебаний и забытья
Под угасающим «факелом ясности»,
Будто на праздник пойдем, друзья!

Под угасающим «факелом нежности»,
Только бы раньше не онеметь! —
С полным сознанием безнадежности,
С полной готовностью умереть.

# СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧАВШИЕСЯ В СБОРНИКИ

## 131. АННЕ АХМАТОВОЙ

По утрам свободный и верный
Колдовства ненавижу твои,
Голубую от дыма таверну
И томительные стихи.
Вот пришла, вошла на эстраду,
Незнакомые пела слова,
И у всех от мутного яда
Отуманилась голова.
Будто мы, изнуренные скукой,
Задохнувшись в дымной пыли,
На тупую и стыдную муку
Богородицу привели.

*1914*

## 132—133. БАЛТИЙСКИЙ ВЕТЕР

### I

Был светлый и холодный день,
И солнце неспокойно билось,
Над нашим городом носилась
Печалью раненная тень.
Нет, солнца не было. Дрожа
Под лужами, тускнели плиты,

Металась дикая Нева
В тисках тяжелого гранита;
Как странно падали слова:
«Я видела его убитым».
И черный вуаль открыл глаза,
Не искаженные слезами,
На миг над невскими волнами
Вам смерть казалась так легка.
И лишь в лохмотьях облака
Растерянно неслись над нами.

## II

Тяжкий гул принесли издалека
Осветившие землю огни,
Молчаливым и нежным упреком
Ты следишь мои сонные дни.
Где-то там и ликуют, и плачут,
Славословят смертельный бой,
Задыхаясь, валькирии скачут
В облаках веселой толпой.
И поет о томлении плена
Тихоструйного Рейна волна,
И опять на покинутых стенах
Ярославна тоскует одна.
Знаю все. Но молчи и не требуй
Ни тревоги, ни веры своей,
Я живу... Вот река и небо,
И дыхание белых полей.

## 134. ОСТАВЛЕННАЯ

Мы все томимся и скучаем,
Мы равнодушно повторяем,
Что есть иной и лучший край.
Но если здесь такие встречи,
Если не сон вчерашний вечер,
Зачем нам недоступный рай?

И все равно, что счастье мчится,
Как обезумевшая птица,
Что я уже теряю вас,
Что близких дней я знаю горе,
Целуя голубое море
У дерзких и веселых глаз.

Лишь хочется летать за вами
Над закарпатскими полями,
Пролить отравленную кровь
И строгим ангелам на небе
Сказать, что горек был мой жребий
И не увенчана любовь.

## 135

Когда Россия, улыбаясь,
Безумный вызов приняла,
И победить мольба глухая
Как буйный ураган прошла,

Когда цветут огнем и кровью
Поля измученной страны,
И жалобы на долю вдовью
Подавленные, не слышны —

Я говорю: мы все больны
Блаженно и неизлечимо,
И ныне, блудные сыны,
В изменах каемся любимой...

И можно жить, и можно петь,
И Бога тщетно звать в пустыне,
Но дивно, дивно умереть
Под небом радостным и синим.

*<1915?>*

## 136

Железный мост откинут
И в крепость не пройти.
Свернуть бы на равнину
С опасного пути?

Но белый флаг на башне.
Но узкое окно!
О, скучен мир домашний,
И карты, и вино!

Я знаю, — есть Распятья
И латы на стенах,

В турецкой темной рати
Непобедимый страх.

Пустыни, минареты,
И дым, и облака,
И имя Баязета,
Пронзившее века.

Белеют бастионы
За мутною рекой,
Знамена и короны
Озарены луной.

И на воротах слово,
— Старинно и темно, —
Что на пути Христовом
Блаженство суждено.

## 137. БЕЛЫЕ НОЧИ

Проспектов озаренных фонари
Погасли на пустынном небосклоне,
И небо бледное само горит,
И легкий звон ленивый ветер гонит.

Что это? Плески отдаленных вод,
Иль райских птиц полуночное пенье,
Или покинутый, блаженный грот
Тангейзер вспоминает, как виденье?

## 138

О том, что смерти нет, и что разлуки нет,
И нет земной любви предела,
Не будем говорить, Но так устроен свет,
Где нам дышать судьба велела.

И грустен мне, мой друг, твой образ, несмотря
На то, что ты и бодр, и молод,
Как грустно путнику в начале сентября
Вдруг ощутить чуть слышный холод.

## 139

Жил когда-то в Петербурге
Человек — он верил в Бога,
Пил вино, глядел на небо,
И без памяти влюбился.

И ему сказала дама,
Кутаясь пушистым мехом:
«Если так меня ты любишь,
Сделай все, что ни скажу я».

Чай дымился в тонких чашках,
Пахло горькими духами...
Он ответил: «Что ты хочешь?
Говори — я все исполню».

И подумал: «Буду с нею
Навсегда, живым иль мертвым.

Легкой птицей, ветром с моря,
Пароходною сиреной».

Равнодушно и спокойно
Дама на него взглянула:
«Уходи, раздай все деньги,
Отрекись навек от Бога,

И вернись с одною мыслью
Обо мне. Я все сказала».
Он ушел и, обернувшись,
Улыбнулся ей: «И только?»

На другой же день он входит,
Бледный, без креста на шее,
В порыжелой гимнастерке,
Но веселый и счастливый.

Тихо в небе догорали
Желтые лучи заката,
И задумавшись как будто
Дама вновь проговорила:

«Уходи, и если можешь,
Обо мне забудь!». Не сразу
Встал он, не сказал ни слова,
И ушел не попрощавшись.

Мир широкий. Все найдешь в нем,
Но не все ль и потеряешь?
Только шесть недель промчалось,
Ночью кто-то в дверь стучится.

«Отвори!» И тихо входит
Тот же человек. Но страшно
Изменился он. Морщины
Черный лоб избороздили.

Шепчет дама: «Неужели
Ты забыл? Ты изменил мне?»
Но он ей не отвечает,
Глаз не поднимает темных.

Утро брезжит... В пышной спальне
Женщина ломает руки.
«Денег мне не надо. В Бога
Верь или не верь — пустое!

Но люби меня!». Коснулся
Он холодными губами
Губ ее, и вновь покорно
Темный, спящий дом оставил.

Год прошел, второй проходит,
Никого она не видит,
Никогда не спит... Ни слухов,
Ни звонка, ни телеграммы.

Только ветер бьется в окна,
Только птицы пролетают,
Только долгая сирена
Завывает в ночь сырую.

## 140. ЛУБОК

Есть на свете тяжелые грешники,
Но не все они будут в аду.
Это было в московской губернии,
В девятьсот двадцать первом году.

Комиссаром был Павел Синельников,
Из рабочих или моряков.
К стенке сотнями ставил. С крестьянами
Был, как зверь, молчалив и суров.

Раз пришла в канцелярию женщина
С изможденным, восточным лицом
И с глазами огромными, темными.
Был давно уже кончен прием.

Комиссар был склонен над бумагами.
«Что вам надо, гражданка?» Но вдруг
Замолчал. И лицо его бледное
Отразило восторг и испуг.

Здесь рассказу конец. Но на севере
Павла видели с месяц назад.
Монастырь там стоит среди озера,
Волны ходят и сосны шумят.

Там, навеки в монашеском звании,
Чуть живой от вериг и поста,
О себе, о России, о Ленине
Он без отдыха молит Христа.

## 141

Единственное, что люблю я — сон.
Какая сладость, тишина какая!
Колоколов чуть слышный перезвон,
Мгла неподвижная, вся голубая...

О, если б можно было твердо знать,
Что жизнь — одна и что второй не будет,
Что в вечности мы будем вечно спать,
Что никогда никто нас не разбудит.

## 142

Сердце мое пополам разрывается.
Стынет кровь.
Что за болезнь? Как она называется?
Смерть? Любовь?

О, разве смерть наша так удивительно —
Хороша?
Разве любовь для тебя так мучительна,
О, душа?

## 143

«О, сердце разрывается на части
От нежности... О да, я жизнь любил,
Не меряя, не утоляя страсти
— Но к тридцати годам нет больше сил».

И наклонясь с усмешкой над поэтом,
Ему хирург неведомый тогда
Разрежет грудь усталую ланцетом
И вместо сердца даст осколок льда.

## 144

Со всею искренностью говорю,
С печалью, заменяющей мне веру...
За призраки я отдал жизнь свою,
Не следуй моему примеру.

Настанет день... Устало взглянешь ты
На небо, в чудотворный час заката.
Исчезнут обманувшие мечты,
Настанет долгая за них расплата.

Не думай противостоять судьбе,
Негодовать, упорствовать, томиться...
Нет выбора — исход один тебе,
Один, единственный: перекреститься.

## 145

Нам суждено бездомничать и лгать,
Искать дурных знакомств, играть нечисто,
Нам слаще райской музыки внимать —
Два пальца в рот! — разбойничьему свисту.

Да, мы бродяги или шулера,
Враги законам, принципам, основам.
Так жили мы и так умрем. Пора!
Никто ведь и не вспомнит добрым словом.

И все-таки, не знаю почему,
Но твердо верю, — о, не сомневаюсь! —
Что вечное блаженство я приму
И ни в каких ошибках не раскаюсь.

**146**

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Кутырина просит...» — «Послать ее к черту»
(Здесь черт для приличья: известно, куда).
Хватается в страхе Седых за аорту,
Трясется и Ляля, бледна и худа.

Один Калишевич спокоен и ясен
(На Ратнера, впрочем, взирая, как тигр).
Подвал продиктован, обед был прекрасен.
Каких вам еще наслаждений и игр?

Неслышно является Игорь Демидов,
Ласкателен, вкрадчив, как весь на шелку
(В сей комнате много он видывал видов).
«Абрамыч, отец... я спущусь... кофейку».

Отец что-то буркнул в ответ, и Демидов
К Дюпону идет, чтоб решать мо-круазе.

Кто был предпоследним в роду Хасанидов,
Как звали своячениц Жоржа Бизе?

Августа Филипповна входит в экстазе.
«Газеты достать абсолютно нельзя,
Весь город кричит о каком-то рассказе...
Кто автор? — Звоню. Разумеется — я».

Влетает, как ветер, как свет, как свобода,
Порывист, заносчив, рассеян, речист,
Ну, тот... с фельетонами в честь огорода...
Не то огородник, не то анархист.

Преемник Кропоткина, только пожиже,
Зовущий бороться, как звал в старину.
(А в сущности, что ему делать в Париже,
Студенту российскому Осоргину?)

За ним, прикрывая застенчиво шею,
Имея для каждого свой комплимент,
Знакомый Парижу, известный Бродвею,
К тому же и нобелевский конкурент,

Вы поняли — Марк Александрыч Алданов,
Читательской массы последний кумир
[здесь две глупые строчки, которые пропускаю]

Владимир Андреич, уходите? Снова?
(Тот в банк, в типографию — тысяча дел.)
«Сто франков до Пятницы... честное слово!..
Не слушает... не дал... исчез... улетел.

Ступницкий не в духе, дерзить начал Колька.
Единственный выход — пойти к Сарачу.
Сарач только спросит: «прикажете сколько?»,
И в книжку запишет, придвинув свечу.

Чуть Вера Васильевна выпорхнет в двери,
Сейчас же и Шальнев в ту самую дверь.
Была Клеопатра. Была Кавальери.
По Шальневу Верино царство теперь.

Судьбой к телефону приставлен Ладинский,
Всему человечеству, видно, назло:
Он — гений, он — Пушкин, он — бард
исполинский,
А тут не угодно ль — алло да алло!

На свежий товар негодует Эразмус.
С «коровой», с капустой лежат пирожки.
«А были б микробы-с, а были б миазмы-с,
Так все расхватали бы вмиг дурачки!»

К унынью клиентов из пишущей братии
Блуждает Кобецкий, повесивши нос.
«Формация кризиса... при суприматии
Америки... труден научный прогноз».

Прогнозы для Волкова менее трудны:
Два франка внести в прошлогодний баланс,
Подклеить в уборной подгнившее судно,
Трясти бородою при слове «аванс».

Пора наконец перейти к Кулишеру,
Но тут я сдаюсь и бросаю перо.
Тут Гоголю место, Шекспиру, Гомеру,
Тут нужен бы гений — c'est un numéro!

*<1930?>*

## 147. СТИХИ В АЛЬБОМ

Я верности тебе не обещаю.
Что значит верность? — Звук пустой.
Изменит ум, изменит сердце, — знаю.
На том и помирись со мной.

Но все-таки я обещаю вечно
Беречь те робкие мечты
И нежность ту, которую, конечно,
Не сбережешь и часу ты.

## 148

Как ни скрывай и не обманывай,
Вне конкурса — стихи Присмановой,
А Гингер — лучший наш стилист,
Хотя и худший покерист.

*31 марта <19>48*

## 149

Сегодня был обед у Бахраха.
Роскошный стол. Чудесная квартира.

Здесь собраны на удивленье мира
Ковры, фарфор, брильянты и меха.

Но где ж котлеты, пирожки, уха?
Нет, нет, молчу... Средь мюнхенского пира
Забыть должна о грубой кухне лира,
Остаться к эмигрантщине глуха.

Изящный смех, живые разговоры,
О станции и о знакомых споры,
Червинских шуток изощренный яд,

Хозяйки чистый и лучистый взгляд...
Kufoleiner Platz — «нет в мире лучше края»,
Скажу я с Грибоедовым, кончая.

## 150

Остров был дальше, чем нам показалось.
Зеркало озера, призрачный снег,
С неба снежинки... ну самая малость...
Лишь обещаньем заоблачных нег.

С неба снежинки... а впрочем, какому
Летом и снегу небесному быть?
В памяти только... сквозь сонную дрему...
Воображение... к ниточке нить.

Остров и снег. Не в России, а где-то,
Близко глядеть, а грести — далеко.
Было слепое и белое лето,
Небо, как выцветшее молоко.

Что ж, вспоминай, это все, что осталось,
И утешения лучшего нет.
С неба снежинки, сомнения, жалость,
За морем где-то, за тысячи лет.

## 151

Был вечер на пятой неделе
Поста. Было больно в груди.
Все жилы тянулись, болели,
Предчувствуя жизнь впереди.

Был зов золотых колоколен,
Был в воздухе звон, а с Невы
Был ветер весенен и волен,
И шляпу срывал с головы.

И вот, на глухом перекрестке
Был незабываемый взгляд,
Короткий, как молния, жесткий,
Сухой, будто кольта разряд,

Огромный, как небо, и синий,
Как небо... Вот, кажется, все.
Ни красок, ни зданий, ни линий,
Но мертвое сердце мое.

Мне было шестнадцать, едва ли
Семнадцать... Вот, кажется, все.
Ни оторопи, ни печали,
Но мертвое сердце мое.

Есть память, есть доля скитальцев,
Есть книги, стихи, суета,
А жизнь... жизнь прошла между пальцев
На пятой неделе поста.

## 152

Как легкие барашки-облака
Дни проплывают в голубом покое;
Вдаль уплывает счастье голубое
Под теплой лаской ветерка.

Наш ветер — северный. Он гнул дубы и ели,
Он воем отзывался вдалеке,
Он замораживал на языке
Слова, которые слететь хотели.

## 153—154. ИЗ ЗАБЫТОЙ ТЕТРАДИ

### I

Социализм — последняя мечта
Оставленного Богом человека.
Все разделить. Окончить все счета.
Всех примирить, отныне и до века.

Да будет так. Спокойно дышит грудь,
Однообразно все и однозвучно.
Никто не весел, никому не скучно
Работать в жизни, в смерти отдохнуть.

Померкло небо, прежде золотое,
Насторожась, поникли тополя.
Ложится первый снег. Пусты поля...
Пора и нам подумать о покое.

II

Крушение русской державы,
И смерть Государя, и Брест
Наследникам гибнущей славы
Нести тяжелее, чем крест.

Им все навсегда непонятно,
Их мучит таинственный страх,
Им чудятся красные пятна
На чистых, как небо, руках.

Но нечего делать... И сосны —
Ты слышишь — все так же шумят,
И так же за веснами весны
По талым полянам летят.

*1920*

## 155. ВСПОМИНАЯ АКМЕИЗМ

После того, как были ясными
И обманулись... дрожь и тьма.
Пора проститься с днями красными,
Друзья расчета и ума.

Прядь вьется тускло-серебристая.
(Как детям в школе: жить-бороться)

Прохладный вечер, небо чистое,
В прозрачном небе птица вьется.

Да, оправдались все сомнения.
Мир непонятен, пуст, убог.
Есть опьяняющее пение,
Но петь и верить я не мог...

## 156. В СТАРИННЫЙ АЛЬБОМ

Милый, дальний друг, простите,
Если я вам изменил.
Что мне вам сказать? Поймите,
Я вас искренне любил.

Но года идут неровно,
И уносятся года,
Словно ветер в поле, словно
В поле вешняя вода.

Милый, дальний друг, ну что же,
Ветер стих, сухи поля,
А за весь мой век дороже
Никого не помню я.

## 157—161. ПЯТЬ ВОСЬМИСТИШИЙ

### I

Ночь... в первый раз сказал же кто-то — ночь!
Ночь, камень, снег... как первобытный гений.

Тебе, последыш, это уж невмочь.
Ты раб картинности и украшений.

Найти слова, которых в мире нет,
Быть безразличным к образу и краске,
Чтоб вспыхнул белый, безначальный свет,
А не фонарик на грошовом масле.

2

Нет, в юности не все ты разгадал.
Шла за главой глава, за фразой фраза,
И книгу жизни ты перелистал,
Чуть-чуть дивясь бессмыслице рассказа.

Благословенны ж будьте вечера,
Когда с последними строками чтенья
Все, все твердит — «пора, мой друг, пора»,
Но втайне обещает продолженье.

3

Окно, рассвет... Едва видны, как тени,
Два стула, книги, полка на стене.
Проснулся ль я? Иль неземной сирени
Мне свежесть чудится еще во сне?

Иль это сквозь могильную разлуку,
Сквозь тускло-дымчатые облака,
Мне тень твоя протягивает руку
И улыбается издалека?

### 4

Что за жизнь! Никчемные затеи,
Скука споров, скука вечеров.
Только по ночам, и все яснее,
Тихий, вкрадчивый, блаженный зов.

Не ищи другого новоселья.
Там найдешь ты истину и дом,
Где пустует, где тоскует келья
О забывчивом жильце своем.

### 5

«Понять-простить». Есть недоступность чуда,
Есть мука, есть сомнение в ответ.
Ночь, шепот, факел, поцелуй... Иуда.
Нет имени темней. Прощенья нет.

Но, может быть, в тоске о человеке,
В смятенье, в спешке все договорить
Он миру завещал в ту ночь навеки
Последний свой закон: «понять-простить».

## 162

Там солнца не будет... Мерцанье
Каких-то лучей во мгле,
Последнее напоминанье
О жизни и о земле.

Там солнца не будет... Но что-то
Заставит забыть о нем,
Сначала полудремота,
Полупробужденье потом.

Там ждет нас в дали туманной
Покой, мир, торжество,
Там Вронский встретится с Анной,
И Анна простит его.

Последние примиренья,
Последние разъясненья
Судеб неведомых нам.

Не знаю... как будто храм
Немыслимо-совершенный,
Где век начнется нетленный,
Как знать? быть может, блаженный...

Но солнца не будет там.

## 163

Пора смириться, сэр
*А. Блок*

«Пора смириться, сэр». Чем дольше мы живем,
Тем и дружить с поэзией труднее,
Тем кажутся цветы ее беднее
Под голубым беспечным ветерком.

Наш ветер — северный. Он гнул дубы и ели,
Он гулом отзывался вдалеке,
Он замораживал на языке
Слова, которые слететь хотели.

## 164. НА ЧУЖУЮ ТЕМУ

Так бывает: ни сна, ни забвения,
Тени близкие бродят во мгле,
Спорь, не спорь, никакого сомнения,
«Смерть и время царят на земле».

Смерть и время. Добавим: страдание,
...Ну, а к утру, без повода, вдруг,
Счастьем горестным существования
Тихо светится что-то вокруг.

## 165. ПАМЯТИ М. Ц.

Поговорить бы хоть теперь, Марина!
При жизни не пришлось. Теперь вас нет.
Но слышится мне голос лебединый,
Как вестник торжества и вестник бед.

При жизни не пришлось. Не я виною.
Литература — приглашенье в ад,
Куда я радостно ходил, не скрою,
Откуда никому — путей назад.

Не я виной. Как много в мире боли.
Но ведь и вас я не виню ни в чем.

Все — по случайности, все — по неволе.
Как чудно жить. Как плохо мы живем.

## 166. МАДРИГАЛ ИРИНЕ ОДОЕВЦЕВОЙ

Ночами молодость мне помнится,
Не спится... Третий час.
И странно, в горестной бессоннице
Я думаю о Вас.

Хочу послать я розы Вам,
Все — радость. Горя нет.
Живете же в тумане розовом,
Как в 18 лет.

*1971*



# ПЕРЕВОДЫ

*Томас Мур*

## 167. ОГНЕПОКЛОННИКИ

### Поэма

### ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Луна над водами Омана
Горит: как жемчуг, острова
Блестят под пеленой тумана,
И волн смеется синева.
Уж спит Гармозия — блеск мира.
И в яшмовый чертог Эмира
Луч легкий бросила луна.
Там дикий рог звенел, зурна
Томила жаждавшее сна
И утомленное светило,
И было непонятно ей
Что на закате солнцу милы
Лишь лютня или соловей.
Ничто не возмутит природы,
Молчат и берега и воды.
Не колыхнет волны зефир,
Ни листьев не взметнет круженья,
И тщетно б ждал Эмир
На легкой башне дуновенья.

Но деспот аравийский спит,
Им стонущий народ забыт.
Пусть в воздухе горят проклятья
И яростно отцы и братья
Меч вырывают из ножон,
Чтоб был Иран им отомщен, —
Бездушный вождь, он глух к печали
И к звону смертоносной стали.
Он родом от убийц святых,
Что дух Корана чтут глубоко
И верят: ждет блаженство их
За кровь отступников пророка.
Он — там, где им же враг убит,
Стоит коленопреклоненный,
И стих молитвы говорит
На жаркой сабле иссеченный;
Он холодно, не трепеща,
Глядит на лезвие меча
И надпись, не смывая крови,
Читает, чуть нахмурив брови.
Аллах святой, как взглянешь ты,
Когда он смело пред тобою
Предстанет, древних книг листы
Держа кровавою рукою
И утверждая, что и в них
Есть оправданье дел таких?
Не так ли в Трапезунде пчелы
По чашечкам цветов сидят,
Чтоб извлекать из них тяжелый,
Лишающий рассудка яд?
Еще Аравия тирана
Сюда такого не слала,

Еще над селами Ирана
Тень не была такого зла.
Пал трон, земля полна врагами,
Окованы сыны цепями,
И в рабстве горестные дни
Едва дыша влачат они.
О, стыд! Погасло Митры пламя,
Богоотступники толпами
Аллаху строят алтари
И забывают под мечами
Все то, что чтили исстари!
Но есть средь этого крушенья
Пылающие жаждой мщенья
Сердца; им чудится возврат
Годов величия и славы,
Объяты мглой, они хранят
Луч солнца, поздний и кровавый,
Меч в исполненье приведет,
Что сердце дерзко замышляет,
И скоро, скоро должен тот,
Кто мирно ныне отдыхает,
Лелеемый во сне луной,
Изведать горький жребий свой!
Так спи теперь, — иные очи
Пленит сиянье звездной ночи,
Покойся, — пусть над сном твоим
Простреться мгла, суровый воин.
Лишь тот, кто любит и любим, —
В час нежный бодрствовать достоин.

Там, где утесы в небеса
Уходят, в облаках тумана

Есть башня; чьи-то волоса,
Разметаны легко и странно,
Как перья царского султана,
Волной упали из окна.
То — дочь Эмира, то — она,
Она — дитя орды мятежной,
Цветок пленительный и нежный,
Как будто Юности ручей,
Шумящий средь нагих полей.
О, чистоты для нас священной
Бывает Красота полна,
Толпы чуждаясь дерзновенной
И келье девичьей верна!
Цветок над темными волнами
Поднявший чашу, от лучей
Не так укрыт, как за стенами
Ты в тихой горнице твоей.
О Гинда, под густым покровом
Незрима ты мужам суровым,
Безмерно счастлив будет тот,
Кто твой порог перешагнет.
Так путник, знавший лишь унылый
И пенистый простор морей,
Причаливает к роще милой
И землю топчет, где ничей
Шаг не звенел в тиши ночей.

Прекрасны девушки, что летом
По рощам Йемена скользят,
Чрез покрывала жарким светом
Их взгляды встречного дарят.

Невесты вереницей нежной,
Как цвет жасмина белоснежный,
Мелькают в сладостной тени
Иль средь благоуханий рая
Пред зеркалом проводят дни,
Пышнейшей прелестью блистая.
Но даже тот, кто знал гарем
И жен великого султана,
И тот остановился 6 нем
Пред юной дочерью Гассана!

Легчайшим отраженьем сна
Казалась Гинда, но она
Чар женщины была полна.
Пред блеском девичьего взора
Прочь отступала тень позора
И грех был жалок, как змея,
Что слепнет, изумруд найдя,
Ее влекли и волновали
Желанья юные, печали,
И мир иной казался ей
Отчизной, как и мир страстей.
То сердце, пылкое без меры, —
Палил огонь небесной веры
Чрез оболочку чувств земных.
Так летом в зарослях густых
Луч, не удержанный листвою,
Горит такою чистотою,
Таким теплом, что эта тень
Прекрасней кажется, чем день.

Та дева в тишине безмолвно
И робко встала с ложа сна,
На темно-голубые волны
Глядела пристально она.
Ах! Не в слезах она когда-то,
Не горьким трепетом объята,
В дни радостей, в стране родной
На мир глядела пред собой.
Зачем блуждает взор смущенный
По глади моря озаренной
И по отрогам черных скал?
Что ночью дух ее тревожит?
Утесы круты, крепок вал.
Никто проникнуть к ней не может.

Был мыслью той Гассан пленен,
Когда для отдыха от зноя
Полдневного построил он
Ту башню мира и покоя
И, щедро разубрав ее,
Мнил и приятной и надежной.
Мечтатель! Дли же забытье,
Забудь, что все любви возможно,
Любви, не знающей труда,
Любви, берущей счастье с бою,
Чьи наслаждения всегда
Цветут над бездною глухою!
Неустрашимей, чем пловец,
Что вглубь за жемчугом ныряет,
Когда наступит бурь конец,
Любовь тот перл и выбирает,
Что скрыт разгневанной волной.

Да, дочь Аравии, пусть твой
Чертог на скалах, путь опасен,
Есть юноша, что лишь за взгляд
Очей твоих взойти согласен
На недоступный Арарат.
И кажется стезею рая
Ему к тебе стезя крутая.

Но наконец ночь донесла
Плеск беспокойного весла.
Ты вдруг удар о скалы слышишь
Челна, ты все прерывней дышишь,
Белее снега, руки ты
Безмолвно тянешь с высоты,
Как встарь над бездною глухою
Невеста — милому герою,
Едва взбиравшемуся к ней
По грудам вековых камней.
Она, в отчаянии глядя,
Как шел он от преград к преграде,
Вниз косы бросила свои,
Крича: «Возьми, мой друг, возьми!»

Нет, даже Заль такой отваги
В час подвига не проявил.
Чрез горные ручьи, овраги
Он к Гинде весело спешил.
Глядите — дикие газели
Не скачут легче и смелей.
Бесстрашный, он все ближе к цели,
Еще прыжок, и он у ней.

Любила Гинда, не пытая,
Откуда он, какой земли.
Так в рощах Индии чужая
Вдруг птица промелькнет вдали:
От стран цветущих и зеленых
Она порывом бурь соленых
Принесена, — на миг блеснет
И далее стремит полет.
Умчится ль и любовник странный?
Аллах, спаси! Забыть ли ей,
Раз ночью теплой и туманной,
Склонясь над лютнею своей,
Она сидела; чрез решетки
Той милой башни в первый раз
Почудился ей взгляд короткий
Блестящих незнакомых глаз.
Здесь человека быть не может,
Не духа ль доброго тревожит, —
Она решила, — лютни звон,
Не слушать ли спустился он?
Та мысль ее не покидала,
Но вдруг, одолевая страх,
Она безумца увидала,
Лежащего в ее ногах.
Бессвязно с уст его летели
Ей чуждые слова, горели
Глаза все жарче и смелей.
И Гинда вздрогнула, решая,
Что падший ангел перед ней,
Быть может, изгнанный из рая,
Как те, что полюбили дев
Земных, и беспощадный гнев

Небесный на себе познали,
И рай на женщин променяли,
Нет, юная, не дух благой,
Не демон — соблазнитель твой,
Но сын земли отважный, страстный,
Который ни в любви своей,
Ни в вспышках ярости ужасной
Не знает равных средь людей.
Но этой ночью страсть молчала,
Был взор тоскою омрачен,
Таким она его не знала,
Таким ей только снился он,
Чтоб было сладостней проснуться,
Заплакать или улыбнуться.
Но сон подобный целый день
Порой томит нас и смущает,
Как бы блуждающая тень,
Что след печали оставляет.

«Как нежно, — наконец она
Проговорила, смущена,
Уж долго глядя молчаливо
На золотую даль залива, —
Как нежно, серебрясь едва,
Блестит на острове листва!
Как часто, друг мой, я мечтала,
Чтоб сила дивная умчала
Тот остров в чуждые моря
И чтоб и мы там скрыты были
И чтоб, очнувшись, ты и я
Уж вечно неразлучно жили.

Там обитали б мы одни,
Людей озлобленных не зная,
И нашего блаженства дни
Там охранял бы ангел рая.
Ответь, ты тоже был бы рад?»
И к другу, — дети так шалят, —
Она игриво наклонилась,
Но юноши был скорбен взгляд.
Ее веселье омрачилось,
Ручьями слезы потекли.
«Нет, нет, не лгали мне мои
Предчувствия, — она сказала, —
Мы расстаемся. О, как мало
Мы знали счастья, минет ночь,
И с нею жизнь умчится прочь!
О, я обречена с рожденья
И грусть изведала давно,
Мне только нравилось растенье,
Как уж и вянуло оно,
Мне только стоило к газели
Привыкнуть, полюбить ее,
Как судорога в хрупком теле
Ей прекращала бытие.
А эта краткая отрада
Быть вместе и тебя любить,
И звать своим — ужели надо,
О, скорбь, и это мне забыть?
Ты прав, иди, иди... свиданья
Здесь так опасны... море, мгла...
Не возвращайся... Что страданья!
Тебя ведь гибель здесь ждала.

Прощай! Дорогою далекой
Ты помни, — я тебя люблю,
Мне лучше вечно одинокой
Быть, но не видеть смерть твою».
«Смерть! О, зачем меня пытаешь, —
Воскликнул он, — иль ты не знаешь,
Что смерти не боится тот,
Кто лишь в опасностях живет,
Кто, звону битв всегда внимая,
И бодр и весел лишь в бою,
Кто дремлет, голову склоняя
На саблю верную свою.
Смерть!» — «Боже! Ты находишь силы,
Мы будем вместе... будем, милый!»
«О, не гляди так на меня,
Боюсь я глаз твоих огня.
Ведь если что-нибудь на свете
Могло б мне душу совратить
Иль клятвы, данные в обете,
Навек мне в памяти затмить,
То лишь глаза твои. Пред ними
Честь, мощь мне кажутся пустыми.
Но жребий пал, — все решено,
Нам разлучиться суждено
Навек. Зачем, зачем судьбою
Мне было встретиться с тобою
Позволено в пылу страстей?
О, дочь Аравии, скорей
Соединится мгла со светом,
Чем мы в жестоком мире этом.
Отец твой...» — «О, храни Аллах

Его священные седины,
Не знаешь ты, — в его полках
Лишь смелые, лишь он единый
Из все властителей вокруг
Тебя оценит, милый друг.
Когда-то рукоять кинжала
Ребенком ухватила я.
И он поклялся, — я слыхала, —
За воина отдать меня.
Да и теперь, когда с шербетом
К нему спускаюсь я порой,
Он молвит с ласковым приветом,
Что ждет меня жених-герой
И что для счастья дев нужны
Огни побед и гром войны.
О, не бросай меня, до гроба
Тебя любить мы будем оба,
Вступай в отряды, бросься в бой...
Мы Персов гоним ведь... ты знаешь,
Как грозен взгляд твой! Что с тобой?
Ты яростью уже пылаешь?
Едва займется утра луч,
Беги, бесстрашен и могуч,
И помни, саблю обнажая
Что здесь всегда тебе верна я.
Один победоносный бой
И, ненавистник Гебров, мой
Отец...» — «Молчи, мне слушать больно!» —
Несчастный вскрикнул и невольно
Плащ сбросил и почти без сил
Гебрийский пояс свой открыл.

«Гляди, — плачь безутешно, дева,
Я тот, кого назвать без гнева
Отец не может твой. О да,
Я сын бесчестья и стыда,
Народ неверный мой веками
Чтит благодетельное пламя,
Я тот, кто падая от ран,
Отмстить клянется за Иран,
Кто умирающим и слабым,
Позора не простит Арабам,
Кому богатый выбор есть —
Смерть или без пощады месть.

Родитель твой... уйми волненье...
Ты чтишь его, и для меня
Он свят, как место зарожденья
Миродержавного огня.
Но знай, что в час, как в эту келью,
Заметив свет, я поднялся,
Лишь жизнь его была мне целью,
К добыче устремился я,
И... но ты знаешь остальное,
Увидел ястреба гнездо я
И робкую голубку в нем.
Ты, ты — виновница в моем
Бесчестии, — Любовь убила
Мысль, что Отчаянье вскормило.

О, если бы не знать тебя,
Иль хоть забыть был в силах я
О том, что нас блаженство ждало,
Когда б не пропасть разделяла.

Была бы персианкой ты,
И мы б с тобой детьми играли,
И наши думы и мечты
Родимым алтарям вверяли.
Одела б долы и поля
Тень милого душе обмана,
И, может быть, смешал бы я
Твой образ с образом Ирана.
Мне б в лютне слышался твоей
Зов миновавших, славных дней,
Твоя б улыбка говорила,
Что Персии воскреснет сила,
И, наконец, когда земля
В тебе жила, звала, дышала,
О, как врагов рубил бы я,
Как мощь моя б торжествовала.
Но нет, — все несогласно в нас.
Разлуки неизбежен час.
Мы связаны одной любовью,
Разделены огнем и кровью,
Мы честь забыли, помним страсть,
Отец твой лютый враг Ирана,
И ты... нет, было б слишком странно,
Чтоб ярость так была нежна,
И, может быть, за жизнь, за силы,
Что отдал я, моя страна
Тебе навеки будет милой.
Быть может, в час, когда в крови
Бойцы падут, заплачут вдовы,
Ты вспомнишь о моей любви
И жалости промолвишь слово!

Но погляди...» И, вздрогнув, ей
Он указал на цепь огней,
Мерцавших, гасших временами
Над отдаленными волнами.

Порой там пенилась вода,
Ракета быстрая взвивалась,
Как бы упавшая звезда,
Что вновь на небо возвращалась.
«Мои дозоры! Минул час,
Миг промедленья губит нас,
Прощай, любовь! Прочь обольщенья, —
Тебе принадлежу я, мщенье!»
И на утесы спрыгнул он,
Внезапным гневом потрясен,
На башню взгляда не бросая,
Любовь свою на смерть меняя.
Безмолвно Гинда, чуть дыша,
Стояла, и ее душа
Окаменела от печали.
Но в миг, как волны зазвучали,
Раздался голос с высоты:
«Иду, иду! О, если ты
Погибнуть должен под волною,
Хочу и я на дне с тобою
Лежать. Пусть золотым песком
Покроюсь, порослью зеленой,
Но лучше умереть вдвоем,
Чем жить с тобою разлученной!»
Но нет, — еще не минул срок,
И Гинда, одолев истому,

Глядит, как близится челнок
К ее жилищу роковому.
Бежит спокойная ладья,
Луч серебристый отражая,
Как будто чей-то сон тая,
Ничьей любви не разбивая.

## ПЕСНЬ ВТОРАЯ

Зажегся медленный рассвет,
Чуть озарив Залив Зеленый,
И пальм Барейнских пышный цвет,
И рощи Кишмы благовонной.
Покрыт росой арабский стан,
Индийский плещет океан
И бьется у скалы священной
Селама, где на дне лежат
Рожь, чечевица, злак ячменный,
И финики, и виноград —
Дары усердные простые
Матросов, чтоб береговые
Попутные ветра послал
Им добрый Гений этих скал.
Где ж соловей? Над рощей темной
Ночь оглашал он трелью томной,
И не внимал никто ему.
Но чуть заря сменяет тьму,
Таится он между кустами,
Где крепкую листву гранат
Роса такими жемчугами
Украсила, что был бы рад

Их вделать в ножны ятагана
Наследник самого султана.

Глядите же, — заря зажгла
Два ослепительных крыла.
О Ангел света, ты, который,
Опередив созвездий хоры,
Понесся в небе за Творцом
Его пылающим путем,
Ответь, зачем, о чудо мира,
Исчезли дни, когда Иран
Твоим лучом был осиян.
Когда от брега Бендемира
До Самарканда лишь твои
Горели в капищах огни?
Что с ними сделалось? Пусть тени
Тех, что в Кадессии легли
И видели пожар селений
И плен своей родной земли,
Ответят на слова мои.
Пусть даст ответ изгнанник бедный,
Тот, что томится, хилый, бледный,
У Каспия крутых ворот
Иль в скалах Моссии живет,
Не видя орхидей, каштанов,
Ни легких солнечных фонтанов.
Там тосковать ему милей,
Чем быть на родине своей
Игрушкой злобы и страстей.
О, лучше по миру скитаться,
Отдав свободе жизнь свою,

Чем рабьим счастьем наслаждаться
Там, в завоеванном краю!

Ужель Иран забыл и гордость,
Как отблеск Митровых огней?
Нет, живы те, в чьих душах твердость,
Те, что не подставляют шей
Под взмахи вражеских бичей,
Те, что в ожесточенье яром
Удары отразят ударом,
Что ненависти горький яд
Годами долгими таят
И вспыхивают без закона,
Как будто дерево Цейлона,
Что шумно расцветает вдруг
И потрясает все вокруг.

Да, тот, что полночью глухою,
Эмир, твой замок посетил,
Гебр, что склонившись над тобою,
Тебя б, наверно, пощадил.
Ты выходец из шайки смелых,
Детей селений опустелых.
Им ясно, что тщетна борьба,
Что безнадежна их судьба,
Что тот, кто цепи разбивает,
Осколком сердце поражает,
Но все ж бестрепетны они,
И в смертный бой летят одни,
И вольные кончают дни.
Ты знаешь их: еще недавно
Твоя тяжелая нога,

О деспота сатрап бесславный,
Попрала эти берега,
И здесь полков священных сила
Тебе дорогу преградила.
Араб заносчивый, ты смел
Счесть покоренным их предел,
Но лишь корабль твой в море вышел,
Ты клич мятежников услышал.

Мятеж! Позорный, страшный звук,
Которым часто оскверняли
То дело правое, что лук
Иль меч отважно защищали.
Какое множество из тех,
Чьи доблести бы мы любили,
Кто б знал и славу и успех,
Тем именем убиты были!
Так испарения земли,
Что в ночь холодную взошли,
Сгущаются и остывают,
Туманом тут же ниспадают,
Но, раз поднявшись на простор
И окружив вершины гор,
Там, в небесах, они над нами
Парят лучистыми крылами.

Кого же не зовут рабом
У волн Зеленого Залива,
Кто воин тот, пред чьим копьем
Меч Йемена молчит стыдливо?
Кто в битву ринуться готов
Лишь с горстью Керманских стрелков,

Тех горцев, преданных обрядам
Родительского алтаря,
Так, точно Бог, прощальным взглядом
Иран оставленный даря,
На выси бросил снеговые
И веры отблески златые.
То Гэфид, — сердце леденит
И заклинанием звенит
Звук этот, — оживить он в силах
Больных иль мертвецов в могилах,
То Гэфид, кто меж сыновей
Огня казался всех грозней
Ужаснейшему из вождей!
Глубокой ночью часовые
Рассказывают про такие
Жестокие дела его,
Что, и не видя никого,
Не слыша ничьего движенья
В уснувшем лагере, солдат
От страха опускает взгляд.
Чудовищно его рожденье,
Исчадием огня и мщенья,
Потомком королей он слыл,
Тех, что на шляпу золотое
Перо похитили из крыл
Симурга, древнего героя,
Птенцом той проклятой земли,
Что демоны спасать пришли
И, на погибель правоверным,
Мощь дали полчищам безмерным.
Такие россказни сплело
Тревожное воображенье

Про человека, чье чело
Не отражало ни смущенья,
Ни ужаса, и кто в бою
За благоденствие народа
Отчизну вспоминал свою
И слово дивное — Свобода.
Он сын воителей былых,
Род Гебров озарили их
Дела, — так на Ливанских склонах
Лес кедров темных и зеленых
Под сенью бережет своей
Уже скудеющий ручей.
Нет, то не он поникнет <выей>
Пред Мусульманской тиранией,
Не он, чья мучилась душа,
Минувшей славою дыша,
Чья юность омрачалась думой
Меланхоличной и угрюмой,
Кто для счастливейших времен
Ирана был в слезах рожден.
Нет, оставался чужд он слабым,
Тем, что склонялись пред Арабом
Безмолвно — как цветок степной
Под ветром, веющим грозой.
Бежал он прочь в негодованье
Из опозоренной земли.
Плен братьев, слезы их, страданья
Его, как злое пламя, жгли.
Тот свет, который для влюбленных
Порой в улыбках первых есть,
В мечах он видел обнаженных,
Несущих вольность или месть.

Но, в час бесчестья и обмана
Что цвет воителей Ирана
Пред всемогуществом Гассана?
Напрасно дерзкого встречать
За ратью выходила рать,
И все неустрашимы были
И путь телами преградили.
На каждый поднятый кинжал
Завоеватель отвечал
Тьмой их, на всех, кто там решался
Пройти наемников, бросался
Бесчисленный, кровавый рой,
И все сметал он пред собой,
Как туча саранчи степной.
Есть близ Гармозии старинной
Утес огромный, — над пучиной
Омановой сверкает он,
Его волною отражен;
То лишь обломок одинокий
Цепи, что, падая, ведет
От Каспия волны далекой
До берега Зеленых вод.
Проносятся над ним туманы,
И, как нагие великаны,
Подножье скалы стерегут.
А наверху, под облаками,
Есть храм, разрушенный годами
Неумолимыми, — и тут
Порою сонная орлица,
Задев о стены, удивится,
Что и на высоте такой
Жилища строит род земной.

Протяжным отзвуком в пещерах
Рев отдается гребней серых,
Стремительно летящих к ним,
Оттуда с рокотом глухим
Такие звуки долетают,
Такие россказни сплетают
Про демонов, плененных там,
Что мусульманским храбрецам
Под вечер огибать те скалы,
Становье Гебра, — жутко стало.
Но с суши каменистый склон
Как бы осилил мощь Времен,
От человека отделенный
Мглой беспросветной и бездонной,
Где громоздящихся громад
Ничей не различает взгляд, —
Там призраки, толпою жадной
На пир слетаясь безотрадный,
Роятся. Там потоков рев
Вздымается до облаков,
Окрестность громом наполняет,
И человек не различает,
Что это — гул волны морской
Иль пламени подземный вой, —
Огонь ведь всюду — на утесах
Обрывистых, крутых откосах,
И хоть и минули давно
Дни славы той горы священной,
Хоть все разбито, сожжено
И жрец изнемогает пленный,
Огонь, случайности презрев,
Судьбы и милости и гнев,

Бессмертной силою пылает,
Как Бог, что волю отражает,
Там скрылся — с армией своей
Разбитой Гэфид побежденный.
«Привет, о мыс уединенный, —
Сказал он, — рая ты светлей
Нам, убежавшим от цепей».

Пройдя по снеговым громадам,
Знакомым лишь его отрядам,
На башню Гэфид поднялся.
«Здесь нам защитой небеса, —
Воскликнул он, — здесь нашим ранам
И смерти мы приют дадим,
Не позволяя мусульманам
Торжествовать и петь над ним!
Здесь мы увидим, умирая,
Как ястребов голодных стая
Над нами кружит, — смертный час
Здесь вольными застанет нас».
Ночь темная была, и пламя,
Вздымавшееся меж стенами
Разрушенными, трепеща,
Горело на клинке меча.
«Все кончено. Мы все свершили.
Пусть, пусть Иран уступит силе,
Пускай не возмутит его,
Что и столетний жрец, и воин
Покорны прихотям того,
Кто Бога своего достоин,
Пусть наши лучшие сыны,
Чьи жилы кровью — о, мученье,

Рустемовой еще полны,
Гассана усладят мгновенья,
Пусть Митры погасят огни,
Пусть Магомета чтут они
И ползают перед врагами
Ирана до ужасных дней,
Когда в отчаянии сами
Застонут от своих цепей,
До дней, когда отчизны повесть
Им сердце возмутит и совесть
Их слезы за года обид
Потоком желчи обратит.
Здесь нет в оковы заключенных,
Нет душ, бесчестьем омраченных,
Не осквернил тиран иль раб
Утесов этих отдаленных,
Пусть знает яростный Араб:
Мы слабы, близок час паденья,
Но есть в нас сила для отмщенья!
Как те пантеры, что в горах
Ливанских нагоняют страх
На путников, — победно клича,
Мы ринемся к своей добыче,
И в час, когда как в забытьи
Мы сабель горькое прости
Услышим, и умрет желанье,
И вздох испустит Упованье, —
Тогда за честь родной страны
Падут, отчаянья полны,
Ей все отдавшие сыны».

Так он сказал. Ему рядами
Внимали воины, и в пламя
Меч острый погружали, — мгла
Ужасна и мрачна была.
Разбиты башни, плющ на склонах,
Нет рощ, нет и садов зеленых,
Что волей Магов здесь цвели
Для Призраков — гостей земли.
Забыты жертвоприношенья,
Алтарь, священные плоды,
Нет боле гимнов, иль куренья,
Иль символов святой звезды.
Но Бог великий все же слышал,
Когда на середину вышел
Их Вождь и родиной своей
Отмстить поклялся за детей
И жен, и на огнистых скалах
Не знать ни слабых, ни усталых,
И заколоть себя мечом
Здесь, пред последним алтарем.

Отважные сердца, печали
Исполненные, вы не знали,
Как дева молодая в час
Полнощный молится о вас.
Чужда желаньям и порокам,
Она жила как бы в глубоком
И мирном сне, пока Любовь
Ее не возмутила кровь.
Эмир! Ты помнишь, как спокойно
Беседовал ты с ней про войны

Твои? — Так лилия цветет,
Блистая чашей золотою,
Пока на землю не падет,
Под жаркой, красною росою.
За пряжею, по вечерам,
Без изумления, без гнева
Иль жалости внимала дева
Твоим кровавым повестям,
И иногда, бродя по залам
Гарема, злобным и усталым,
Бледнея, клял ты, раздражен,
Ее напевов легкий звон,
Звучавший лютней херувима
Близ адова огня и дыма.
Преобразила все любовь.
Ей пламя душу опалило,
Был взор печален, хмура бровь.
Мысль роковая все затмила.
Ей слышались слова его:
«Всех пожалей за одного!»
И в неизвестности унылой
Ей каждый Гебр убитый был
Так дорог, точно Гэфид милый
Одну с ним участь разделил.
На стали сабель обнаженных
Кровь друга видела она,
И каждая из стрел каленых
Его пронзить была должна.
Иной, тревожною стопою
Теперь она Гассану к бою
Мечи несла, и если б мглою

Ум злобный не был омрачен,
Наверно бы заметил он,
С полей кровавых возвращаясь,
Как шла она к нему, шатаясь,
Как быстро увядали в ней
Жизнь, молодость, и блеск очей,
И красота, — и, пораженный,
Он сжалился бы над влюбленной.
Ах, та ли, что всегда светла,
Любовь в груди ее жила,
Та ль, что, родившись здесь, на тесной
Земле, нас к высоте небесной
Уносит, что пленяет свет,
Чей сладостен и чист рассвет
И что из нашей жизни тленной
Творит как бы удел блаженный?
Нет, Гинда, нет — ведь роковой
Огонь твой вскормлен тишиной,
Позором, мукою бессонной.
Хранит его душа твоя,
Как некий идол утаенный,
Без надписи, без алтаря,
Где по ночам лишь жрец унылый
Томится точно над могилой.

Семь раз волну Омана ночь
Покровом темным омрачала
Со времени, как Гебра прочь
От берега ладья умчала.
Но, полночь каждую без сна,
Рыдала Гинда у окна.

И милого звала, чья нежность
Ее вскормила безнадежность.
Но что тоска, и плач, и страх!
Не видно лодки на волнах.
Лишь где-то над скалой далекой
Орлицы клекот одинокий
Иль однозвучный крик совы,
Летящей грузно и устало
Издалека в родные рвы,
Порой несчастная слыхала:

Горит восьмой рассвет, — чело
Араба радостью сияет.
Чью ж гибель утро принесло,
Что Аль-Гассана услаждает?
Мерцание Геркендских волн,
Что в щепы разбивает челн,
Обманчиво, но без ошибки
Читали смерть в его улыбке.
«Дочь, дочь, вставай, — призывный зов
Трубы разбудит мертвецов! —
Вставай и радуйся со мною
Дню, посланному мне судьбою,
Дню гибели врагов моих
И разоренья станов их!
Еще до утра он, убитый,
Растерзанным под эти плиты
Падет, еще сегодня в ночь
Я кровь его увижу, дочь».
«Что! Кровь его!» — изнемогая,
Весь мир, всех близких забывая,

Воскликнула она. «Да, да,
Погасла Гэфида звезда!
Помощница у нас — измена.
Иначе б на своих скалах
Они бы избежали плена,
Там их не взял бы и Аллах!
Но ныне этот непокорный,
Что мертвецами мне устлал
Дорогу, этот демон черный,
Что мне бесчестьем угрожал,
Изведает, как наш кинжал
И меч вонзаются глубоко
В грудь оскорбителей Пророка.
О, Магомет! Клянусь твоим
Венцом и именем святым —
За каждый стон, что извлеку я
У душ неверных, торжествуя,
Я врежу, возвратясь домой,
Персидский перл в светильник твой.
Но что это?.. она слабеет
Поблек румянец... взор тускнеет...
Дочь, дочь!.. здесь жизнь тебе вредна,
Ты жить в Аравии должна.
Поверь, здесь изнывают сами
Герои... ты же так хрупка,
Ведь думал я, что перед нами
Падут персидские войска, —
Меч поднимает их рука!
Но ободрись, дитя родное,
Сегодня ж море голубое
Тебя отсюда унесет,
И лишь когда ты дома будешь

И в нежных рощах грусть забудешь,
Здесь кровь неверных потечет».
Знал истину завоеватель.
Был на горе Огня предатель,
И, золотом врагов пленен,
Им указал дорогу он
Чрез бездны и седые воды,
Туда, в убежище свободы.
В ужасную, глухую ночь,
Когда со скал священных прочь
Сыны Ирана в бой помчались,
И умирали, и прощались
С надеждою, — меж хладных тел
Изменник низкий уцелел.
Заря лишь рабство озарила
Того, кого ждала могила.
И в час, как редкие полки,
На скалы возвратясь свои,
Бой вспоминали, жив, пленен,
Над ними же глумился он.

О, где я обрету проклятья,
Чтоб обратить их на того,
Кем преданы отцы и братья!
Кто дал Арабам торжество!
Пусть пред его горящим взглядом
Жизнь держит только кубок с ядом,
Пусть утешенья перед ним
Рассеиваются, как дым,
И обратятся чувства жадным
Обманом злым и безотрадным.

Пусть будет вечно жаждать он,
Огнем бессмертным опален,
Пусть раздается долгий стон
Изменника в глухой пустыне
И блеск волны небесно-синей
Сквозь тучи из песка и тьму
Всегда мерещится ему.
Когда же здесь его мученья
Минуют, сделай так, Пророк,
Чтоб видеть райские селенья
Из пекла адова он мог!

## ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

Зловещий день встает: безмолвны
Тяжелые, тугие волны.
А в небесах седой туман
И рвет и треплет ураган.
Над гладью сонного залива
Летят в лохмотьях облака,
Здесь пелена их, точно грива
Коня, подвижна и легка,
Там их свинцовые громады
Быть колыбелью грома рады,
Иль, открывая даль небес,
Ложатся на прибрежный лес,
Как будто буря, что разбила,
Разорвала родную твердь,
Теперь и на земле решила
Посеять ужасы и смерть.

Но на земле еще спокойно.
Молчание долины знойной
Ужасные дела сулит
И людям сердце леденит.
Искатель перлов у залива
Погоды ждет нетерпеливо.
Морские птицы голосят
И бьют крылами; рулевые,
Минуя берега крутые,
Спускали паруса подряд
Шесть раз. Все гибель предвещало
В тот час, как Гинда покидала
Персидский разоренный склон.
Не раздавался лютни звон,
Ни друг не медлил над волною,
Чтоб горестно махать рукою.
Один по глади сонных вод,
Никем не зрим, корабль плывет,
Как чрез ворота слез, безмолвно
И медленно проходят челны.

Где ж был в тот час Гассан?
Урвал ли бич племен и стран
У грозных битв одно мгновенье,
Чтоб Гинде дать благословенье?
Нет, гневно в глубине дворца,
Твердя проклятья без конца
Или молитвы, он блуждает
И вражьей крови ожидает,
И буйно радуется ей.
Так близость жертвы разъяряет
Орла средь выжженных степей.

А дочь его плывет, рыдая,
Из им разграбленного края,
Подобная голубке той,
Что возвестить про славный бой
Должна, но только бьет крылами,
Подстреленными ей врагами.

Ужель и память милых лет
Румянца не вернет ей цвет?
Знакомые кусты, палатка,
Где грезить так бывало сладко,
Толпа газелей дорогих
И звонкий колокольчик их,
Птиц золотое оперенье,
И рыб веселые стада,
И в ясный полдень их движенье
В прозрачной глубине пруда
И цвет акаций, и решетки
Садов, где вечером она
Пойдет рубиновые четки
Перебирать в руке до сна, —
Ужель виденья те бессильны
Пред ней рассеять мрак могильный?
Безмолвно, точно в забытьи
Полузакрыв глаза свои,
Сидела Гинда и порою
Казалась скорбною сестрою
Недвижных Ангелов могил.
Пред дикими скалами плыл
Ее корабль и перед храмом,
Где будет яростным Исламом

Взята чрез несколько часов
Горсть непокорных храбрецов.
«Где ты теперь, изгнанник милый,
Любимый мной с такою силой,
Гебр, возмутитель, всем чужой,
Лишь мне навеки дорогой?
О да, Аллах неумолимый,
Когда путем греха пошли мы,
Пусть гневная волна твоя,
Что бьется в стены корабля,
Меня поглотит, пусть забвенье
Наступит до того мгновенья,
Когда, все бросив, разлюбя,
Отца, и близких, и Тебя,
Пред идолом его паду я!
Так пламенно его люблю я,
Что даже и в раю Твоем
Я вспоминала бы о нем».
Глаза ее в слезах блестели,
Чуть вздрагивала голова,
И хоть безумные летели
И дерзостные с уст слова,
Но чистая, святая сила
Горела на ее челе
Измученном и говорила,
Что дом ее не на земле.
Нет, и в падении глубоком
Была чужда она порокам, —
Так в ручейке полдневный луч
Пусть преломлен — еще могуч.

Одна лишь мысль ее терзала.
Все остальное, — рокот вала
Огромного, иль буйный рев
Горячих, крепнущих ветров,
Иль наверху сердитый ропот,
И тяжкий звон мечей, и топот,
Что становился все сильней, —
Все было безразлично ей.
Но чу! Не с палубы ль несется
Ужасный крик, — как будто рвется
Там парус или в стены бьет
Поток неудержимых вод.
О, небеса! Что там такое?
Не вихрь, о нет, — такого воя
Еще не разу на волнах
Не слышали. «Аллах, Аллах,
Прости меня!» — шептала дева,
Поняв, что миг суда и гнева
Настал, и, падая без сил,
Ей стон подруг ответом был.
Рыдали жены, бились дети —
Еще удар, другой, вот третий,
И вдруг, как бы широкий шквал
Мгновенно палубу сорвал,
Так доски треснули, ломаясь,
И, падая и отбиваясь,
Забрызганные кровью, вниз
Как в пропасть люди ворвались,
Одни стремительны, иные
Уже в предсмертной агонии.

Кто отвратить от Гинды мог
Тот огнедышащий поток,
Кто мог ее рукою сильной
Увлечь из этой тьмы могильной?
Не знала ничего она.
Как будто льдистая волна
Покрыла Гинду и, бледна,
Она упала меж телами,
Как под палящими дождями
Вулкана падает цветок.
Полн ужаса был краткий срок!
Обломки палубы, и доски,
И там, в пролетах, берег плоский,
Чуть видимый, и небеса
Свинцовые, и паруса,
Что в дикой ярости трепещут,
И, залитые кровью, плещут
Над обезумевшей толпой,
Звон стали, бормотанья, вой
И сабли, точно метеоры
Горящие, и за волной,
Там, эти каменные горы!

Раз только показалось ей, —
Но нет, то было наважденье, —
Средь щеп летящих и мечей
Как бы знакомое виденье,
Тот образ вечно дорогой,
Который и на гребнях вала
Вспененного, и меж толпой
Бушующей она узнала.

Так темной ночью иногда
Египта белая звезда,
Чей блеск холодный и далекий
Знаком лишь на одном Востоке,
Зажжется, затмевая свет
Иных, кочующих планет.
Но это лишь воспоминанье
Мгновенное иль краткий сон.
Уже оставило сознанье
Ее, она роняет стон.
И вдруг, отбросив покрывала,
Она, как мертвая, упала.

О, как пленителен для нас
За грозами идущий час,
Когда смолкает грохотанье
И солнца тихое сиянье
Горит над сушей и водой,
Лелея мирный их покой
И золотя эфир над ними
Лучами чистыми своими,
Роскошные цветы полей,
Похищенные со стеблей,
По временам еще мелькают
Пред нами и благоухают,
Как бы в награду за такой
Им небом посланный покой.
Сверкают капли меж листвою
Трепещущею и игрою
Напоминают камень тот,
Где пламя молнии живет,

Без счета легких дуновений
Летит широкою волной,
И воздух теплый и весенний
Так чист, так нежен, что порой
Мы верим, что всех роз и лилий
Здесь запахи соединили.
Уже лучом озарена
Чуть плещет слабая волна.
Но плеск ее, глухой и сонный,
Похож на шепот опьяненный —
Любовника, что первый год
От чаши наслаждений пьет.

Далеко туча грозовая
Была, когда, припоминая
Все виденное, ото сна
Очнулась Гинда. Лишь волна
О стены глухо ударяла
И тяжело корабль качала,
Но где она! Еще темно
Пред нею... Это ли судно
Там, в гавани отца стояло,
Его ль акула провожала
По следу красному — о нет
Все незнакомо здесь! Ни свет
Полуденный не скрыт коврами
Расшитыми, ни веерами
Не охраняют легких снов
Ее, — ни лютен, ни цветов.
Плащи походные и шали
Как бы постель ей заменяли,

На копья, скрытые едва,
Ее склонилась голова.
Со страхом Гинда огляделась.
Горсть воинов, как в забытьи,
Пред нею на припеке грелась,
Окончив подвиги свои.
Одни на дремлющие волны
Глядели пристально. Безмолвны
И нетерпение тая,
Иные с мачты корабля
Глаз не сводили, где устало
И тихо паруса трепало.
Аллах! Спастись удастся ль ей?
Не видно здесь ни ятагана
Отточенного, ни мечей,
Покорных слову Аль-Гассана.
Одежды желтые, — тот цвет,
Что правоверных ужасает,
Тафья, широкий пояс, — нет,
Ее ничто не обольщает.
Да, жертвой Гэфида она —
О, ужас! — стать обречена.
Да, Гэфида! Остановилось
Испуганное сердце в ней, —
Она ведь Гебра научилась
Считать всех демонов страшней,
Начальником всех духов ада,
Кому отчаянье — отрада,
Чья тень палящею грозой
Прошла меж небом и землей.
Она в его плену, — во власти
Его жестокости и страсти.

Те воины — его полки,
Все грешники и все враги!
Какая дерзкая, пустая
Надежда говорила в ней,
Когда, отчаянье скрывая,
Она метнула на людей,
Ей чуждых, взгляд такой прекрасный,
Такой пронзающий и ясный,
Что тот, кто всех суровей был,
Глаза смущенно опустил.
Но все исчезло вдруг — виденья,
Сквозь кровь и бурю на мгновенье
Мелькнувшего, пред нею нет,
То был лишь сон ее иль бред,
Полумечта, полусиянье,
То странное очарованье,
Что может овладеть порой
Больной иль дремлющей душой.

Но оживилось все. Ныряет
Меж синими волнами челн.
Гребец сильнее ударяет
По зеркалу широких волн.
И Гинда видит, чуть живая,
Что прямо к роковым скалам
Несет ее ладья чужая,
И чует, что предстанут там
Ее испуганным очам
Отверженцы людей и света,
Не знающие Магомета.

Меж берегом и пеной вод
Огромная гора встает.
Над ней, вершину покрывая,
Пылает туча заревая,
Как будто мечет плащ судьба,
Готова увенчать гроба.
Ее б сознанье поразило, —
Когда б сознанье сохранила
Она, — что смертного нога
Взойдет на эти берега,
На эти горные отроги,
Куда Араб не знал дороги.
Но в ужасе померкло все,
Когда плеснула близ нее
Прибрежная волна и в серых,
Промытых, гибельных пещерах
Под вулканической горой
Раздался безотрадный вой.
Вдруг долетает приказанье
Зажечь огни, и в содроганье,
Без мачт и парусов, судно,
Течением увлечено,
Летит в глухую пропасть грота,
Как бы чрез вечные Ворота,
Куда не проходил живой.
Пять факелов, треща смолой,
Льют задуваемое пламя
Над пенящимися валами,
И молча воины плывут,
Как будто легкий шепот тут,
Иль окрики, иль взрывы смеха
Мгновенно роковое эхо

Зловещей тайной возвратит
От этих безотрадных плит.

Но вдруг от каменной преграды,
Подбрасывая легкий челн, —
Разгневанных, кипящих волн
Летят вспененные громады.
Весло по диким гребням вод
С удвоенным усильем бьет.
Чу! Кто-то на берег взлетает
Бесстрашно, цепи закрепляет,
Канаты спущены, и вот
Челн недвижим над бездной вод.
Тогда средь грохота и гула
Мерцанье слабое мелькнуло,
И вдруг, незрима и легка,
Повязку темную рука
На очи пленницы надела,
Она лишь простонать успела.
И, как бесчувственное тело,
На грубом ложе, в забытьи,
Ее солдаты унесли.

О солнце дивное! Луч света!
Тобой вселенная согрета,
Нам столько радостей дает
Тобой горящий небосвод,
Что если было бы судьбою
Позволено одним тобою
Здесь любоваться, — все же мы
Бежали б от могильной тьмы.

И Гинда бедная, не зная,
Где цель предстанет роковая
Ее дороги, поняла,
Что снова волнами тепла
Она овеяна и снова
Над ней блеск солнца золотого.

Но вскоре вновь сгустился мрак.
Вел путь через глухой овраг,
По грудам сучьев шелестящих
И камней, с грохотом летящих.
Спросонья удивленный тигр,
Не разобрав тех буйных игр,
Встает и дикими прыжками
Летит вдогонку за камнями.
Рев жалобный гиены злой,
Голодного шакала вой
И отзвук вечный и печальный
Прибоя у пещеры дальней,
Подобный голосу волны
У тихой, мертвенной страны.
О, сколько ужасов. Но все же
Ей, точно скованной на ложе,
Казалось мукою двойной
Не различать их пред собой, —
Так прихотливые виденья
Под дикий шум, во тьме ночей,
Пугают нам воображенье
И яви кажутся страшней.

Но дремлет ли она? Иль снова
Ее коснулась тень былого

И шепот, легкий, как струна,
И правда ль — слышала она?
«Не бойся, друг мой, Гебр с тобою!»
Нет, быть не может, то не сон,
Как обмануться? «Гебр с тобою!»
Нет, — это прошептал ей он.
Тот звук меж тысячной толпою
Она б услышала, — так мил
И так многоречив он был.
О, пышноцветной розе Мая
Прискучит раньше соловей,
И будет нравиться иная
Песнь, и крикливей и грубей,
Чем сердце сердцу не ответит
И зова страсти не заметит.

И радостно, в тот страшный час,
Ей грезит, что так близок милый,
Тот, с кем она, легко смеясь,
Стояла бы и над могилой.
Но ужас заглушает вновь
То, что внушила ей любовь.
Их Вождь, не знающий пощады,
Простит ли, что пленила взгляды
Отважнейшего из бойцов
Дочь Аравийских берегов,
Дитя кровавого Гассана,
Чье роковое торжество
Его войска лишило стана,
Сгубило родину его,
Чья месть сегодня в ночь, о Боже,
Обрушится на Гебров. Кто же

Им даст неодолимый щит,
Кто меч разящий отвратит?
И минет ли Гассана злоба
Того, кто дорог ей до гроба?

«О Боже! Помоги ему,
И если духу твоему
Угодны грешных поклоненья,
Их стоны, жертвоприношенья,
То сохрани его, и я, —
Клянусь, — всю радость бытия,
Любовь, надежды, упованья,
Нежнейшие воспоминанья —
Из сердца вырву и у ног
Твоих сложу, жестокий Бог!
Оставь, — пусть он живет, пусть дышит,
И небо грозное услышит
Признанье грешное и стон,
Что должен знать был только он.
Пусть минет младость в покаянье,
Пусть тяжкой старости скитанье
В угасшей памяти сотрет
То, что теперь мне сердце жжет.
И если некогда, тоскуя,
Его невольно помяну я,
То лишь с усердною мольбою,
Чтоб там, в раю, перед Тобою
Знал он блаженство и покой.
Мне будет дивная награда —
Ту душу оберечь от ада,
Заблудшую звезду вернуть
На истинный, небесный путь.

Пусть ночь пройдет, — тогда мы оба
Твои всецело, потому
Что, будь что будет, — я до гроба
Останусь верною ему».

## ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Тем, кто ни страха, ни печали
Не знает, — голубые дали
И моря пенистая гладь
Чудесными могли бы стать.
То вечер был из тех, что бури
Порою оставляют нам.
Весь запад в огненной лазури
Пылал торжественно, и там,
За скалами, роса ложилась!
И искрилась и серебрилась,
Как слезы грешницы младой,
Что хочет прошлые ошибки,
И наслажденья, и улыбки
Омыть в час смерти роковой.

Все было тихо. Буря злая,
Что через Кермана сады
Промчалась, яростно срывая
Приятные в пути плоды,
Теперь лишь нежилась устало
На зеркале Зеленых Вод
И будто жемчуг растворяла,
Который море бережет.
Прибрежие цвело, и где-то
Гряда зеленых островков

Сияла, точно остров света,
Повиснувший меж облаков.

Но те красоты не пленили
Взор пленницы, и как в могиле,
Испугана и смущена,
Очнулась медленно она,
Когда с нее повязку сняли.
Глаза ее с тоской блуждали,
Как бы затем, чтоб только весть
О гибели своей прочесть.
Чернел вверху, под облаками,
Разрушенный и древний храм
И будто помешать стенами
Хотел смеяться небесам.
Надежда Гинду обольщала,
И горестно она искала
Того, чей голос дорогой
Над нею прозвенел струной.
Сон краткий! улетевший снова!
И адского, глухого рева
Был бедной пленнице страшней
Клич боевой под звон мечей:
«Вождь, Гэфид!» — долетевший к ней.
Идет он... слышен звон по горам,
Ужель с его горящим взором,
Все ужасающим, она
Глаза скрестить обречена.
Арабы верят, что лишь пламя,
Виднеющееся ночами
Под лепестками мандрагор,
Губительней, чем этот взор.

Надежда с ужасом боролась,
Ужель ей слышать этот голос,
Чей крик неодолимый страх
Внушает воинам в боях,
Как путникам у водопоя
Тигрицы рыканье глухое?
Привстав, закрыв глаза, она
Как бы ждала, потрясена,
Чтоб, наконец, ее спалила
Очей тех роковая сила.
Ослабевает звон шагов
Прочь удалившихся бойцов.
Ей страшно, — не снести ей <муку>,
Но Гэфид трепетную руку
Берет и, нежность затая,
Ей шепчет: «Милая моя!»
Ее рыдание глухое
Договорило остальное,
И пала к Гэфиду на грудь,
Без слов она, без сил. <...>
То он, то он — покрытый славой
Вождь этой вольницы кровавой.
То Гэфид — битв и смерти бог,
Кого никто сразить не мог,
Он, Гебр, и ласковый и нежный,
Как в час тот, дальний, безмятежный,
Когда впервые у окна
Его увидела она,
Решив, что это дух небесный
У горницы замедлил тесной.

Мгновенья в жизни нашей есть, —
Как будто золотая весть
Мрак безнадежности пронзила,
Как будто солнце озарило
Самума горестную тьму
Года отчаянья, разлуки
И возвратило блеск всему.
Забытые ль, живые муки —
Все в этот несравненный час
Бодрит и восхищает нас.

И даже он, — что зрел затменье
Звезды своей и дерзновенья,
Что видел роковой закат
Надежд надменных и отрад
И то, как сделался могилой
Иран, ему навеки милый,
Он, мертвый для земных страстей
И тяжкие влачивший годы,
Чтобы последний вздох свободы
Услышать и погибнуть с ней,
Он, будто утопавший в море,
Где ветер — скорбь, где волны — горе,
Изнемогавший от вериг
Отчаянья, в тот сладкий миг
Чистейших ласк, воспоминаний
И сладостных, немых признаний, —
О, убедился даже он,
Что в чаше муки заключен
И терпкий, горестный напиток,
И нежных радостей избыток,

Что тем, кто эту влагу пьет,
Ни времени не страшен лет,
Ни смерть сама, — раз им в страданье
Такое есть очарованье.

Она ж, ловя ответный взгляд,
Забыла на одно мгновенье
И пережитый ею ад,
И долгий ужас, и мученье,
Как тот несчастный, что сквозь сон
Смеется, подавляя стон.
С развалин, где они стояли,
Меж серых, вековых камней
Виднелись океана дали
И множество живых ладей,
Укрывшихся от бури в заводь,
Покачиваясь, вышли плавать
И расправляли паруса,
С которых капала роса, —
Так крылья мокрые порою
Орлов трепещут над землею.
Уж села за холмистый Лар
Звезда дневная, и пожар
Заката в вышине лазурной
Переливался и горел,
Как будто ангел плащ пурпурный
На Запад бросить захотел.
О, этот миг — любви удел!
Внизу волна устало плещет,
Луч золотой над нею блещет, —
И бьются их сердца в ответ
На волн и облаков привет.

Но ах! Умчалось прочь виденье,
Вновь всем овладевает страх,
Ночь близится — ночь преступленья.
Погасло пламя в небесах,
Лучи, что на волнах блистали,
Туманней и слабее стали,
И, глядя на небо, бледна,
Вдруг дико вскрикнула она:
«В ночь, он сказал, — так, значит, скоро,
Беги, не мучь меня, беги!
Здесь через час вся эта свора
Покажется, — твои враги!
Чу! Слышишь ли ты в этих безднах
Звон сабель и мечей железных?
Беги, темнеет небосклон,
Беги же, кто тебя осудит?
Я знаю! крови жаждет он
И ночи ожидать не будет!»
В отчаянье, почти в бреду
Пред воином она упала.
«Увы, из-за меня беду
И муку эту ты узнала.
Я проклят, около меня
Ни счастья нет, ни бытия,
И воздух вкруг меня — о, горе! —
Печален, как на Мертвом море,
Зачем нагнать твое судно
Мне было небом суждено?
Зачем, увидев, что послала
Мне в жертву дивная судьба,
Увидев то, как ты лежала,
И беззащитна, и слаба,

Поклявшись быть тебе в неволе
Незримым другом, но тебя
Не называть, не помнить боле, —
Зачем нарушил клятву я?
Зачем пришел сюда я ныне?
Не бойся, это ветр в долине
Проносится и бьется там.
Здесь на заоблачной вершине
Мир остальной неведом нам,
Здесь вечное уединенье
Напоминает погребенье,
И если даже адский рой
Захочет овладеть горой,
Будь безмятежна здесь, друг мой, —
Здесь я и звезды золотые
Твои сегодня часовые.
И завтра, чуть забрезжит свет,
К отцу домой ты...» — «Завтра! Нет,
Несчастный, — простонала дева, —
Ночь эта — ночь суда и гнева!
Здесь кровью все зальют враги,
Не медли более — беги!

Ты предан... Негодяй, который
Знал, как пройти на эти горы...
Не сомневайся, верь мне, верь,
Я лгать бы не могла теперь...
Ты жертвой стал отца, несчастный,
Сегодня он с улыбкой ясной
И грозной все мне рассказал.
По гулким анфиладам зал

Шагал он, чуть дыша от злости,
Как бы твои уж видя кости.
О, Господи, как далека
От истины тогда была я.
Беги ж... померкли облака...
И верь мне, друг, во имя рая!

О, холоднее даже льда,
Что сковывает взлет фонтана,
Становится душа, когда
Пред ней раскрыта сеть обмана.
Не молвил Гэфид ничего.
Но леденела кровь его,
И, будто чары роковые
Испытывая, он стоял,
Как истуканы в Исмонии
Под сводами безмолвных зал.

Но минуло оцепененье,
И прежних, лучших дней виденья
Промчались легкой чередой
Пред гордою его душой.
Очам его такие дали
Еще ни разу не сияли.
Лучистый и спокойный взор
Он тихо к небу поднимает
И будто смертный приговор
Огнем начертанный читает.

«Так вот и гибель! Пробил час,
Поля Ирана, пасть за вас!

Пусть жизнь жестоко обманула,
Пусть молнией она блеснула,
Но перейдет чрез бездну лет
Зажженный ею вечный свет.
И некогда, пленившись славой,
Потомок-раб сюда придет
И Гэфида удел кровавый,
Гордясь и плача, помянет.
Здесь будет мыс уединенный
Потомку говорить о нем,
Поэт и воин непреклонный
Оставят город свой и дом
И здесь, дивясь утесам этим,
О Гэфиде расскажут детям,
И на развалинах святых
Они заставят клясться их,
Пока еще в них дышит сила,
Пока не унесла могила,
Не примиряться, нет, и мстить
Тем, кто могли их покорить,
Чьи цепи перс несчастный носит
И крови чьей от них он просит!»

Тех мыслей в этот страшный срок
Им быстрый овладел поток.
Так Иссы мученик безгрешный
Не поднял на венец свой взор,
Как Гэфид смотрит на поспешный
Из сучьев и ветвей костер,
Который в темноте пылает
И стены храма освещает,

И где огонь средь душных смол
С товарищами он развел;
Как саван дивный и суровый
Горит костер, — покрыть готовый
Горсть непокорных храбрецов,
Которым славы слышен зов,
Которым жизни всей дороже,
Милее огненное ложе, —
Как Магомету, в миг чудес,
Когда те угли, что пылали
Под ним, вдруг волею небес
Роз благовонных грудой стали.

В тревоге дева, — страшно ей
Сверкание его очей.
Что этот пламень означает?
Какие мысли он скрывает?
Увы! Зачем раздумьем он
В тот миг опасный омрачен?
«О Гэфид, — не сдержала крика
Она, — мой царь и мой владыка.
Когда жива доныне страсть
Твоя, хоть след ее, хоть часть,
Здесь на коленях, как пред Богом
Молю тебя я не о многом:
Беги... коль Гинде ты не лгал,
Беги с кровавых этих скал.
Спешим!.. Я в свой корабль укрою
Тебя... уже совсем темно.
Мы уплывем вдвоем с тобою
На юг... на север... все равно.

Куда б ни унесло нас море,
Рука к руке, глаза к глазам,
Забудем мы и страх, и горе,
И все любовь заменит нам.
Мы где-нибудь найдем селенье,
Где полюбить — не преступленье,
Где можно, страсти не тая,
Земного ангела, тебя
Ласкать, — иль где могли б любя
Мы грех свой долгими ночами
Омыть горячими слезами,
Ты пред Аллахом всесвятым
И я пред Божеством твоим!»

Так обезумев, говорила
Она и головой на грудь
К нему легла, как бы молила
Ей счастье краткое вернуть.
А он (ужель в вас удивленье
Поднимется хоть на мгновенье?)
Все — гордость, честь, холмы могил,
Иран несчастный — он забыл
И видел только образ милый,
Пред ним склонившийся без силы.
О, пусть не будет осужден
За призрак упованья он,
За то, что гибнущей душою
Еще овладевал порою
Сон безнадежный о часах
Блаженства, о ночах и днях,
Что подарить ему могла бы

Лишь та, кем славятся Арабы.
Он наклонился к ней... глаза
Покрыли слезы на мгновенье,
И первая была слеза
Ему как предостереженье.
И, вздрогнув, будто раздражен,
Поспешно щеку вытер он.
Как воин, что, с ночным покоем
Простившись, утром перед боем
Стирает, слыша зов гудка,
Росу с блестящего клинка.

Пусть он и победил волненье,
Но голос, быстрые движенья
Еще хранят его печать,
И Гинда хочет в них читать,
Что он ее услышал просьбы,
И, может быть, в ней родилось бы
Забвение тревог и мук,
Но Гэфид вскакивает вдруг:
«Да, если правда во вселенной
Есть гавань для любви священной
И если есть желанный брег
Бессмертных и чистейших нег, —
Утешься! Там, забыв страданья
Мы вновь соединим лобзанья».

Задумалась она, едва
Поняв те странные слова,
Но юноша нетерпеливо
Уж бросился на край обрыва

И в рог из раковины дал
Ужасный, роковой сигнал,
Как будто демонов сзывая
На битву с ангелами рая,
И знали верные друзья,
Что означает клич вождя:
То зов последний, безнадежный,
То весть о смерти неизбежной!
Уже давно у диких плит
Развалин этот рог висит,
Готовый известить народы
И земли о конце свободы.

Идут они, заслыша зов
Начальника, с нагих холмов.
Увы! как их осталось мало!
По Керманским степям, бывало,
Неслись веселые полки,
И мавританские гудки
Им день победы предвещали,
И копья солнце отражали,
И на взлетающем седле,
Сверкая бычьими хвостами,
Храня надменность на челе,
Казались воины богами.
Как изменились здесь они,
Как сделались бледны их лица,
Как отблеск, что дают огни,
Печально на черты ложится,
Когда к костру пришли они
Зажечь сигнальные огни.

Все тихо, — каждый воин знает,
Что Вождь ему повелевает,
И, услыхав последний зов,
Исполнить долг святой готов.

Мгновенья убегают прочь.
Зажгла алмазы в небе ночь.
О Звезды! Тускло ваше пламя
Пред здесь сужденными делами.
Ум Гинды трепетом объят,
И сердце в ней пощады просит.
Безмолвно четверо солдат
Носилки для нее приносят.
И юноша, чей нежный взор
Таил отчаянье и муку,
Раскрыл над ней цветной шатер
И долго, долго жал ей руку,
Пусть вздрагивало сердце, пусть
Печаль в глазах его блеснула,
Ей радостью казалась грусть,
Ее надежда обманула.
«То знак любви — тот блеск очей,
То счастья предзнаменованье,
То пыл, забота, верность ей,
Все, все, — но только не прощанье».

«Спешим, спешим, — кричит она
Не потерять бы нам судна,
А завтра на лазурном море —
О, торжество! — с тобой вдвоем
Мне эти ужасы и горе
Покажутся далеким сном

И ты...» Но он не отвечает,
Аллах! Иль он ее бросает
И в путь отправиться она
Без Гэфида обречена?
Пред нею вновь встают ущелья,
Где незадолго до того
Ей в душу заронил веселье
Звук нежный голоса его,
Который слушать слаще было,
Чем райский голос Израфила
Меж отражающих напев
Эдемских золотых дерев.
Но нет его. «О Гэфид милый,
Ты, встретить смерть нашедший силы,
Позволь мне быть с тобой, и я
Умру, благословив тебя.
Пусть наши губы будут слиты,
Пусть вместе отцветут ланиты,
Пусть припаду к груди твоей,
И что мне тысяча смертей?!
О воины, — зачем так скоро
Меня несете с косогора,
Помедлите, — я вас молю!
Иль правда ты забыл свою
Подругу, Гэфид?» По дороге,
Изнемогая от тревоги,
Звала она почти без сил,
Но Гебр на зов не приходил.
Несчастная чета! Последний
И безотрадный пробил час,
Нет больше ни надежд, ни бредней,
И нет свидания для вас.

Увы! Он слышал Гинды крики,
На полдороге он стоял,
И взор его, слепой и дикий,
Прикован был к отрогам скал
И к темной пропасти, что скрыла
Все, что душа его любила.
Так безутешен только тот,
Кто лунной ночью на безмолвном
И сонном море отдает
Возлюбленное тело волнам,
Кто мукою горящий взгляд
Бросает горестно назад.
Туда, где слышен плеск унылый
Над дорогой ему могилой.

Но что же с Гебром? Вздрогнул он.
Чем слух его так возмущен?
Ужасный звук! Иль рог огромный
Послышался из бездны темной,
Иль собрались туда толпой
И к небу устремили вой
Все злые духи этих башен,
Все демоны, — так звук был страшен.
«Идут, идут!», — воскликнул он,
Отчаяньем преображен, —
Ликуйте, древние герои,
Уже вкусившие покоя!
Сегодня в звездный ваш приют
Достойные друзья взойдут!»
Так он сказал и, как влюбленный,
К невесте мчащийся своей,

Бежит, — пред ним алтарь зажженный,
Блеск сабель острых и мечей,
Как молния из темной тучи,
Ответивших на рев могучий.
Но снова воздух потрясен,
Крик все грозней, все ближе он.
Все путник понял бы, который
Увидел воинов, и взоры,
Горящие огнем ночным,
Как тяжело казалось им
Быть неподвижными в покое
Под то гуденье роковое.
И Гэфид понял мысли их:
«Что ж! Иль бояться нам чужих
Полков, пока мы биться можем?
Иль головы свои мы сложим
Безропотно, стальных клинков
Не погрузив в сердца врагов?
Нет, нет, Ирана Бог державный,
Не примешь жертвы ты бесславной!
Пусть нет надежд у нас, но есть
Меч, жизнь и без пощады месть!
Удел кровавый наш и раны
В любви народной оживут,
И будут с трепетом тираны
Глядеть на Гэфида приют.
За мной, бесстрашные, к отчизне
Небесной, от цепей, от жизни!
Блажен тот воин, чей удел
Пасть с грудой мусульманских тел!»

Вниз бросились они с обрыва.
Горя отвагой, горделиво
Глядят бойцы. Могучий враг,
Пройдя через глухой овраг,
Затих, обманутый огнями.
Неверно тусклое их пламя,
И, как Голкондская змея,
Он, хвост сверкающий тая,
Блуждает. Гебрам же не надо
Огней, — их давняя отрада
Носиться меж вершин крутых.
Так часто в игрищах своих
Исчадья гор они встречали,
Что тигры узнавали их
Издалека — и пропускали.

Чернеет на пути врагов
Глубокий, каменистый ров.
Здесь скоро примут янычары
От Гебров первые удары.
Прошедшей поутру грозой
Ров залит до краев водой,
По сторонам, тесня откосы,
Как тьма, вздымаются утесы
И клонят головы, храня
Алтарь свободы и огня.
Здесь ждут отрядов Аль-Гассана
Сыны и мстители Ирана.
Здесь, ожидания полны,
Они средь мертвой тишины
Стоят, — и птица битв крылами
Неслышно бьет над их рядами,

Идут, чрез ров спустились вброд...
Час смерти неизбежной бьет.
И настает, о Гебры, время
Навек прославить Ваше племя.
Передний должен первым лечь.
Идут... и беспощадный меч
Им головы подряд снимает
И ров телами наполняет.
И вновь идут они и вновь
Окрашивают волны в кровь.
Уж гебры убивать устали,
Их лица дики и бледны,
Их сабли из каленой стали
От крови вражеской пьяны.
Нет, никогда тиранов орды
Не гибли так, и никогда
Меч вольности, святой и гордый,
Не знал достойнее труда.

Пылают факелы так скупо,
Бросая отсветы на трупы,
Их различает взор едва
В воде окровавленной рва.
Какой там ад! Какие муки!
Тафьи в огне, без пальцев руки,
Разломанные на куски
Еще горящие клинки.
Одни, сгорев наполовину,
Вниз падают меж скал крутых
И погружаются в пучину,
Другие же, под грузом их,

Упав и захлебнувшись, тонут
И в ужасе предсмертном стонут.

Но мусульманам счета нет,
Погибла тысяча — ей вслед
Идет бестрепетно другая,
Тем насекомым подражая,
Что роем на огонь летят,
Чтоб загасить его, горят.
Идут Арабы и телами
Мост строят между берегами
И на мост этот, весь в крови,
Шлют дерзко полчища свои.
Но пройден ими путь ужасный.
Чего же ждешь ты, Гебр несчастный,
На что надеешься в тот час,
Когда с озлобленных их глаз
Завеса роковая спала,
Когда открылось им, как мало
В ущелии таилось вас?
И гибнут Персы — иль на страже
У берегов, не вскрикнув даже,
Иль близ Вождя, — а он, храня
Пути к святилищу огня,
Врагов жестоких отражает
Мечом и к башням отступает,
Подобно льву, который был
Снесен разливом Иордана
И в яростных волнах, без сил,
Боролся с бурей неустанно.
Так бился Гэфид, и пред ним
Рок смертный отступал, как дым.

Но где же скрылся Гебр? Добычу
Утратили свою они.
Несется дикий вихрь. Их кличу
Нет отзвуков, бледны огни.
«Проклятие!» — кричат Арабы.
«Где наши факелы? Как слабы
Лучи их! Гебр не мог уйти!
За ним же по его пути!»
Но тщетно дикою толпою
Летят они, объяты тьмою, —
Горящий на скалах крутых
Огонь обманывает их,
И, бросившись к нему, с обрыва
Арабы падают стремглав
Или над пропастью залива
Удерживаются, поймав
Рукой трепещущей, в надежде
Спастись, могучий сук, где прежде
Орлы сидели лишь. — И стон
Вздымается со всех сторон.

Тот крик — последняя услада
Для Гэфида, — как вопль из ада
Земного долетел к нему.
Над склоном, вглядываясь в тьму,
Лежит он возле сабли верной.
Как будто подвиг свой безмерный
Окончил уж и новых ран
Не может требовать Иран.
Одна лишь мысль его смущает,
Одна звезда как бы сияет

Ему сквозь дрему, — то она,
Его блаженство и весна,
Чей образ незабытый, нежный
Мрак побеждает безнадежный.
Был Гэфиду еще милей
Теперь и блеск ее очей,
И легкий стан, — ему казалось,
Что все лишь сон, — все муки, кровь, —
И что ничем не омрачалась
Их безмятежная любовь.
Как бы небесной пеленою
Была овеяна она
И тихо, пред его душою,
Сияла, вся озарена.
Раздался чей-то голос рядом,
То был любимый друг — лишь он
Был в битве яростной, под градом
Ударов, роком пощажен.
«Вождь! Умирать ли меж врагами?
Пойдем и встретим гибель в храме».
То Гэфиду был точно знак,
И яростно вскричал он: «Как!
Мы и доныне не свободны?»
И точно сбросил он холодный
И смертный саван и стремглав,
Лишь яркой кровью запятнав
Утес, бежит. Забыл он муку,
Он друга ледяную руку
Сжимает, но во рвах глухих
Тень смерти настигает их.
О, помоги им, Боже правый,
Им тяжко... осени их славой.

Уж камни сделались красны
Под ними, на стеблях видны
Их крови отбрызги, и даже
Твой меч, о Гэфид, уж на страже
Не может быть, расщеплен он.
Спеши! Идут со всех сторон
Враги. Еще скачок, не боле —
И Гэфид там, где на престоле
Огонь божественный горит,
Где храм развалины вздымает, —
Но друг его у хладных плит,
Упав без силы, умирает.
«Увы, был славен твой удел.
Товарищ, я ль тебя покину,
Чтоб каждый негодяй посмел
Тебя копьем ударить в спину?
Нет, нет, клянусь у алтаря».
И, силой дивною горя,
Героя Гэфид поднимает
Уж холодеющей рукой,
Несет к костру и зажигает
Листву с пахучею смолой.
И буйно вспыхивает пламя,
Как молния над берегами
Оманскими. «Так, здравствуй, Бог
Свободы!» Но лишь вскрикнуть мог,
И с торжествующей улыбкой
Бросается, могучий, гибкий,
В огонь и, подавляя стон,
Дух дивный испускает он.

Чей вопль раздался над Оманом?
Летит он с барки, — над кормой
Луч, не удержанный туманом,
Блеснул, и все покрылось тьмой.
Та барка от вершины грозной
Уносит Гинду, — о, как поздно! —
Ее весна, ее удел
Лишь горсти вручены героев,
Которых Гэфид пожалел,
Их битвой не обеспокоив.
Он думал, что когда они
К отцу как бы живой из аду
Доставят Гинду, то их дни
Гассан помилует в награду.
Они не знали, выйдя в путь,
Что Гэфид в помыслах скрывает,
И лишь успели обогнуть
Передний мыс, как потрясает
Окрестность заповедный рог.
Иль слух их обмануться мог?
Безмолвно весла над бортами
Остановились вдруг, и вот
Вода широкими струями
По ним на дно ладьи течет.
Все взоры, муки не скрывая,
Прикованы к обломкам плит,
Где тихо, золотясь и тая,
Огонь святой еще горит.

О Гинда, твоего мученья,
Тех страшных для тебя минут

Не повторит воображенье,
Немая скорбь! Ее поймут
Лишь те, лежащие в могиле,
Что некогда их пережили.
То не тоска была, о нет,
Души, перед которой свет
Померк и для которой боле
Нет в мире ни надежд, ни боли,
Которой никаких потерь
Не страшно на земле теперь,
Нет, пусть надежд и гаснет пламя,
Несчастные живут порой,
Как те, которых под снегами
Находят спящими зимой.
Безмолвное уединенье,
Покой мертвящий, тишина
Пленили б, как благословенье,
Тех, чья душа опалена.
Их участь — вечный страх и мука,
Их время — гибели порука,
Им рано ль, поздно ль — все равно
Уничтоженье суждено.
Спокойны воды и безмолвны,
Звезда дрожит, бросая в волны
Лучи свои. В такую ж ночь
Недавно Аль-Гассана дочь
От счастия едва дыханье
Переводила, и мерцанье
Небесных звезд казалось ей
Такой отрадой, что милей
И не было у ней желаний.

Невинных, молодых мечтаний
Была душа ее полна.
И счастлива была она.
Исчезло все. Но тише, — снова
Раскаты рога боевого
Гремят. Воители, к чему,
Тревоги полны, за корму
Глядите вы, зачем рукою
Меч ищете, готовясь к бою?

Тот, смерть и ужас сеять вам
Приказывающий, — гибнет сам.
Вы смотрите на стены башен.
Но кажется пустой скала,
Лишь рог пронзителен и страшен.
Ах, объяснить бы все могла
Та, что, уже покорна мукам,
Лежит без сил в углу, над люком,
Все кончено для ней, весь мир
Погиб, ничто не обольщает, —
Единственный ее кумир
Льет кровь теперь и умирает.
Но что это? Исчезнул мрак.
Блеснули факелы... то знак!
Зачем там промелькнуло пламя?
Все жадными следят глазами
За алтарем, и, Гинда, ты
Очей не сводишь с высоты.
Мгновенье, и костер огромный
Поднялся над скалою темной

И море озарил сквозь дым
Печальным пламенем своим.
Тогда, как грозное виденье,
Гебр показался над огнем,
Подобный богу разрушенья
В ужасном торжестве своем.
«То Гэфид»,— дева закричала,
Но миг — и вот его не стало!
Закрыл все огненный туман.
Плачь, Гинда, ныне, плачь, Иран!
Крик безнадежный испустила
Она и бросилась за ним
Туда, как бы в огонь и дым.
Но темная ее могила
Ждала, — глубокая волна,
Где вечный мир и тишина.

***

«Прощай, прощай, младая дочь Гассана!
Так Пери пела в глубине морской. —
Нет жемчуга под водами Омана,
Что мог с тобой бы спорить чистотой.

О, ты была прекрасней темной розы
И сердцем радостна и весела,
Пока любовь, как те глухие грозы,
Что разрушают лютни, не пришла.

Когда-нибудь в Арабских рощах южных
Чета влюбленных помянет с тоской

Ту, что лежит у Островов Жемчужных
Под охраняющей ее звездой.

И в пору фиников, у пальм, где младость
И старость знойные проводит дни,
Простая повесть о тебе их радость
Смутит, и опечалятся они.

И девушка, цветами украшая
Прядь золотистую косы своей,
Твой образ вспомнит вдруг, о гостья рая,
И отодвинет зеркало быстрей.

Возлюбленную ль своего героя
Забудет Персия? Пускай тиран
Над ней глумится, — навсегда святое
Хранит воспоминание Иран.

Прощай! Твой гроб мы увенчаем сами
Сокровищами глубины морской,
Игрой камней, огромными цветами,
Чтоб чудным сном казался твой покой.

Тебя на дне овеют ароматы,
Птиц плачущих нежнейшие дары,
И груды раковин даст грот богатый,
Где отдыхают Пери от игры.

Мы спустимся туда, где на просторе
Сады кораллов скрыла глубина,
Мы золото найдем в Каспийском море,
Тебя осыпем им на ложе сне.

Прощай, прощай! Пока одно живое
Трепещет сердце, будет воздух полн
Тоской о павшем на скале герое.
О деве, дремлющей под сенью волн».

*Жозе Мариа де Эредиа*

## 168. РАБ

Голодный, загнанный, в отрепьях нищеты,
Невольник — посмотри, вот рабства знак
тяжелый, —
Свободным я рожден, у рощ, где пахнут смолы
И Гиблы высятся лазурные хребты.

Я бросил милый край, увы!.. О, если ты
По следу лебедей еще вернешься в долы,
Где стены Сиракуз, и виноград, и пчелы,
Гость, расспроси о той, кому верны мечты.

Увижу ль некогда темней фиалок взоры,
Где неба нашего отражены просторы
Под торжествующей дугой ее бровей?

Будь милосерд! Иди, спеши в родные дали,
Поведай Лесбии, что я томлюсь по ней.
Ее узнаешь ты — она всегда в печали.

*Роберт Саути*

## 169. ПРИЗРАК

### Быль

— Эй, матушка! Где переехать выгон?
Будь доброй, проведи коня!
Ни зги не видно, лошадь сбилась, право,
Боюсь, что не добравшись до заставы,
Увижу духов страшных я!

— Нет, самый ранний дух, и тот лишь в полночь
Из преисподней прилетит, —
Сказала женщина, — но что с тобою?
Ты озираешься с такой тоскою,
Что, путник, что тебя страшит?

Ты колеи держись, минуя выгон,
А как проедешь за кусты,
Увидишь — виселица есть большая,
Где до сих пор висят два негодяя,
Убивших молодца, как ты.

— Ах, не боюсь я вовсе, — молвил всадник, —
Ножа разбойников ночных,

Те привидения, что вдруг пред нами
Являются во тьме, блестя глазами,
Ужасней и страшнее их.

Нельзя ли виселицу мне объехать?
— Одна дорога, — был ответ. —
Там, правда, ветер мертвецов качает,
И воронов добыча собирает,
Но, ведь, причин для страха нет.

— Как, там и вороны еще? Те твари,
Что отливают синевой?
Да вороны ль они? Мне говорили,
Что и у виселиц, и на могиле
Встречали призраков порой.

— Нет, — молвила, — то вороны ночные,
Они глаза у мертвых тел
Выклевывают, каркают часами,
Да вот, сейчас один из них над нами
На пир, наверно, пролетел.

Прощай же! — Путник двинулся; от страха
Душа металась, как в огне;
Молчал он. Облака спокойно плыли.
И будто от ключа забвенья пили
Немые звезды в вышине.

И вот, до виселицы он доехал.
Качались черные тела.
Подняв глаза, глядел он без опаски

На мертвецов. При виде странной пляски
Решимость вдруг к нему пришла.

— Чего там, — он воскликнул, — мне бояться.
Опасности тут вовсе нет!
Но чуть промолвил это всадник смелый,
Как появился рядом призрак белый.
Он вздрогнул, проклиная свет.

Пустился вскачь, за ним и призрак следом,
Цепями звонкими гремит,
Уж виселица позади большая,
Они летят, друг друга обгоняя,
Безмолвен всадник, дух молчит.

Вот края выгона они достигли,
Закрыты были ворота.
И только всадник за столбы кривые
Рукою взялся, чьи-то ледяные
К ней прикоснулись вдруг уста.

Тут вскрикнул он и через рвы, канавы
От пугала помчался прочь.
Оглянется и видит, — длинной тенью
Бежать не надоело привиденью,
Лишь чуть светлее стала ночь.

Вот и застава. — Помогите! — воскликнул, —
Что делать мне? Какая тьма!
За мною призрак с выгона несется.
Ах, я боюсь, хозяин, сердце бьется...
Что, что там? Я сойду с ума!

— Ах, кляча старая, — тот молвил, — Дженни,
Постой-ка, я тебе задам!
Не бойтесь, господин, — не злая сила,
А Гафферова серая кобыла
Неслась за вами по пятам.

*Шарль Бодлер*

## 170. ПАДАЛЬ

Припомните предмет, что видеть, дорогая,
Нам в утро ясное пришлось:
Остаток падали чудовищной у края
Дороги узкой, ноги врозь.

Подобно женщине, давно привыкшей к блуду,
Мешая вместе яд и пот,
Бесстыдно выставил, открытый отовсюду
И весь в испарине живот.

Луч солнца яркого сиял на этой гнили,
Чтоб словно доварить ее,
И чтоб возвращены Природе щедрой были
Сторицей жизнь и бытие.

И словно над цветком раскрытым простиралась
Даль бесконечной синевы.
Так отвратительно воняло, что казалось,
Чуть вскрикнув, упадете вы.

Жужжала стая мух над этим чревом темным,
Откуда медленно, в пыли,

Как жидкость вязкая, в количестве огромном,
Личины червяков ползли.

Все это двигалось, вздымалось, опускалось,
Иль тучею неслось вокруг,
И тело мертвое размножившись, казалось,
Как будто оживало вдруг.

И этот странный мир рождал глухое пенье,
Как ветерок или волна,
Или как в веялке колеблемой движенье
Ссыпающегося зерна.

И блекли линии, и сон напоминали,
И образов стиралась нить,
Как на частях холста, которые в печали
Художник тщится довершить.

За скалы спрятавшись, пугливая собака
Едва превозмогала злость,
И будто бы ждала движенья или знака,
Чтоб доглодать гнилую кость.

— И все таки для вас наступят дни и годы
Быть тоже мерзостью такой,
О, свет моих очей, звезда моей природы,
Вы, страсть моя и ангел мой!

Да, будете такой и вы, о друг прелестный,
Когда в неотвратимый час
Навек вы спуститесь в приют сырой и тесный,
И плесень выступит на вас.

Тогда, о красота, на самом дне могилы,
Под поцелуями червей,
Вы все же скажете, что нет у смерти силы
Над сгнившей радостью моей!

*Жан Кокто*

## 171

Нет ничего страшней, чем спящих женщин лица
И внешний их покой.
Египет — сны твои и ты — его царица
Под маской золотой.

Что ищет он, твой взгляд торжественный
и грустный,
Зачем уходит прочь,
Едва разуберет тебя, как раб искусный,
Любви и неги ночь.

Оставь, о жизнь моя, о дикий мой утенок,
Пространства и года;
Плыви над бездной их, из чуждых мне потемок
Вновь возвратись сюда.

## 172

Мне путешествия скучны. Я был в Мадриде,
Я видел Лондон, Рим.
От церкви к пирамиде
Охоту странствовать развеял я, как дым.

О, Лондон розовый, склад угля, город стали,
        Где на ходу все спят.
        Венеция в печали
Из-за того, что дряхл ее былой наряд.

Мадрид, где по ночам бродить темно и душно.
        Рим, на далекий мир
        Глядящий равнодушно.
Жасмином пахнущий и козами Алжир.

Нет, в этих городах не испытал я дрожи.
        Не ведал забытья.
        Но и в Париже то же.
Лишь на твоей груди бываю счастлив я.

## *Наполеон I*

### 173

Наследник юный мой, далекое виденье!
Да, вот черты его, их прелесть узнаю.
Он умер для меня; он в это заключенье
Навек не явится рассеять грусть мою.
О кровь моя! О сын! Заменою свободы
Ты б твоему отцу несчастному служил.
Я б охранял тебя в твои младые годы,
Ты мне бы в старости опорой твердой был.
Ты заменил бы мне и славу и порфиру,
На этом острове я счастлив быть бы мог,
И мог бы позабыть, что двадцать лет я миру
Свои веления предписывал, как бог.

*Рильке*

**174**

Я тот, кто спрашивал когда-то
Несмело: как назвать тебя?
Кто после каждого заката
Стоит, смущаясь и скорбя.

Без сил, забывший о веселье,
Всем сборищам я вечный враг.
Вокруг меня все вещи — кельи,
Где меряют мне каждый шаг.

Ты нужен мне, о Дух Познанья,
Ты, кроткий спутник всех тревог,
Ты, разделивший все страданья,
Как хлеб, ты нужен мне, о Бог.

Ты бел, — но не как белы ночи, —
Для тех, к кому склонил Ты лик;
Все, каясь, опускают очи,
Ребенок, дева и старик.

*Сен-Жон Перс*

## 175. АНАБАЗИС

### ПЕСНЯ

Под бронзовой листвой рождался жеребенок. Человек положил нам ягоды горькие в руки. Чужеземец. Проходивший. И слух, кажется мне, доносится о других областях... «Привет вам, дочь моя, под самым большим из деревьев года».

* * *

Ибо Солнце входит в созвездие Льва, и Чужеземец вложил палец в рот мертвых. Чужеземец. Смеявшийся. И говорит нам о траве. Ах! сколько дыхания тем областям! Как легки нам наши пути! Какая услада в рожке и в пере, сколько мудрости на позор крыльям!.. «Душа моя, взрослая девушка, имели чуждые вы нашим нравам нравы».

* * *

Под бронзовой листвой родился жеребенок. Человек положил нам свои горькие ягоды в руки. Чужеземец. Проходивший. И вот великий шум в бронзовом дере-

ве. Смола и розы, дар песни! И гром, и флейты в комнатах! Ах, так легки нам наши пути, ах, столько приключений за год, и Чужеземец, ни на кого не похожий, на дорогах всей земли! «Привет вам, дочь моя, под самым прекрасным из платьев года».

## АНАБАЗИС

### I

На трех временах года основываясь с честью, предсказываю мир на земле, принявшей мой закон.
Оружие поутру прекрасно и море. Во власть наших коней отданная, земля, без миндальных деревьев.
Нетленное дает нам небо. И солнце не названо, но мощь его среди нас.
И море поутру, как надменность духа.
Ты пела, мощь, на наших путях ночных.
В ясные иды утра, что знаем мы о сновидении, о первородство наше?
На год еще среди вас! Царь зерна, царь соли, и дело общее на точных весах!
С другого берега людей не кликну я. Главных частей городов
не намечу на склонах коралловым сахаром.
Но намерен я жить среди вас.
Вся слава у входа в шатры! Сила моя среди вас! И чище соли мысль владычествует днем.

*

Я часто посещал снившийся вам город и на пустынных площадях я торговал своей душой, среди вас невидимой и распространенной, как на ветру пламя терновника.
Ты пела, мощь, на наших пышных дорогах! «Утехе солью все копья разума... Я солью оживлю мертвые рты желания!
Тому, кто не пил, восхваляя жажду, воды песков из шлема, не склонен верить я, как торговцу душой»...
(И солнце не названо, но мощь его среди нас).
Люди, люди праха и всех образов, люди деловые и праздные, люди наших земель и из-за границы. О, люди, полузабытые в этих местностях, люди долин и плоскогорий, и самых высоких склонов мира, у обрыва наших берегов; чующие знамения, семена, и исповедники дуновений на Запад; идущие по следам и за временами года, снимающие лагерь при легком рассветном ветре, о ищущие водяные точки на коре мира, о ищущие, о находящие причины, чтобы уйти отсюда, — не крепче соль вы держите в руках, когда утром, в предчувствии царств и мертвых вод, высоко подвешенных на дымах мира, барабаны изгнания будят у границ
вечность, зевающую на песках.

*

В одежде чистой среди вас. На год еще среди вас!
«Слава моя на морях, сила моя среди вас!

Обещанное нашим судьбам дыхание берегов иных и за пределы несущее семена времени, сиянье века на острие коромысла весов...»
Математика, подвешенная к сплошному льду соли! На чувствительной точке моего лба, там, где создается стихотворение, я подписываю эту песню целого народа, самого хмельного,
тянущего бессмертные днища на верфях наших!

## II

Нет глубже тишины, чем в населенных странах, чем в странах, в полдень полных саранчой.
Я иду, вы идете в стране с высокими, покрытыми пчельниками склонами, где сушатся после стирки белье и платья Великих.
Мы переступаем через платье Королевы, все из кружев, с двумя полосами серого цвета (ах! как умеют кислоты женского тела оставить пятно на платье, под мышкой!).
Мы переступаем через платье Ее дочери, все из кружев, с двумя полосами яркого цвета (ах! как умеет язык ящерицы схватить муравья под мышку!).
И, может быть, не истек еще день, как тот же человек томился о женщине и о дочери ее.
Смех мудрый мертвецов, почистите-ка нам эти плоды!
Иль нет уж в мире милости под розой дикой?
Идет по водам, с этого конца мира, великое лиловое бедствие. Поднимается ветер. И сушившееся
исчезает, как священник, разорванный в клочья...

## III

В день жатвы ячменя человек выходит. Не знаю, кто сильный на крыше моей говорит. И вот уже сидят у двери моей Короли эти. И ест Посол за столом Королей (Пусть кормят их моим зерном!). Проверяющий весы и меры спускается по разбухшим рекам с частями насекомых

и кусками соломы в бороде.

Пусть! Мы тебе удивляемся, Солнце! Ты столько лгало нам! Зачинщик смут, раздоров, о Бунтовщик, вскормленный хулой и позором! Разбей миндалину моего глаза! Мое сердце щебетало от радости под великолепиями извести, птица поет: «о старость...», реки в руслах своих подобны женским крикам, и этот мир прекраснее,

чем кожа барана, окрашенная в красное!

А! удивительней прошлое этой листвы у наших стен и чище вода, чем во сне, слава ей, слава, что она — не сон! Моя душа полна лжи, как море сильна и подвижна под зовом красноречья!

Мощный запах меня окутывает. И встает сомнение, не призрачны ли вещи. Но если человеку грусть его приятна, пусть выведут его на свет дневной! И по-моему, пусть убьют его, иначе

будет восстание.

Лучше сказано: мы извещаем тебя, Ритор! о наших бесчисленных выгодах. Моря, слабеющие в проливах, не знали судей придирчивее! И человек, разгоряченный вином, с сердцем суровым и жужжащим, как пирожное черных мух, начинает говорить такие слова:

«...Розы багряное наслаждение: огромная земля желанию моему, и кто в этот вечер ограничит его? жестокость в сердце мудреца, и кто в этот вечер ограничит его?» И такой-то, сын такого-то, человек бедный,

приходит к власти знамений и снов.

«Наметьте пути, по которым уходят люди всех родов, показывая желтую краску каблука: принцы, министры, военачальники с гортанными голосами, совершившие великое и видящие во сне то или другое... Священник издал для глупцов законы против вкуса женщин. Знаток грамматики выбирает место споров под открытым небом. Портной вешает на старое дерево новое платье из прекрасного бархата. И человек, заболевший перелоем, моет белье свое в чистой воде. Сжигают испражнения больного, и запах долетает до гребца за веслом,

он сладостен ему».

В день жатвы ячменя человек выходит. Мощный запах меня окутывает, и вода чище, чем в Явале, плещется, как в иные годы... В длиннейший из дней лысого года, хваля

под травами землю, не знаю, кто сильный шел по моим стопам. И вот уж ничего не осталось от мертвых, под песком, и мочой, и солью земли, как от мякины, когда зерно отдано птицам. И душа моя, душа моя громко бодрствует у ворот смерти. Но скажи Принцу замолчать: до поломки копья среди нас,

этот лошадиный череп!

## IV

Вот здесь ход мира, и лишь хорошее могу сказать о нем. — Основание города. Камень и бронза. Огни терновника на рассвете
обнажили эти большие
камни зеленые и скользкие, как основания храмов, как дно отхожих мест,
и мореплаватель в пути, опутанный нашими дымами, увидел, что земля доверху
изменила образ свой (великие выскребывания, видные с открытого моря, и эти работы
по закрепощению горных источников).

Так был основан город, и поутру посвящен губным звукам чистого имени. Исчезают лагери на холмах. А мы, находящиеся здесь, на деревянных помостах
без шляп и босоногие в свежести мира, что мы находим смешного, нет, что мы
находим смешного с наших мест в выгрузке девок и мулов?
И что сказать, от рассвета, обо всех этих людях под парусами! — Прибытие муки!
И выше Илиона суда, под белым небесным павлином, пройдя мол, останавливаются
на том мертвом месте, где зыблется мертвый осел. (Надо быть судьями этой бледной
реки, без будущего, цвета кузнечиков, раздавленных в их соку.)
При громком и бодром шуме с другого берега, кузнецы овладевают очагами своими. Щелкания бича вы-

гружают на новые улицы возы неизвестных несчастий. О мулы, наши тайны под кожаной саблей! Четыре головы, непокорные суставам руки, образуют в лазури живой щит. Основатели приютов останавливаются под деревом и думают о выборе участка земли. Они учат меня смыслу и назначению строений: сторона главная, сторона немая; боковые галереи, передние черного камня и прозрачно-тенистые бассейны для книгохранилищ; прохладные помещения для лечебных продуктов. Затем идут банкиры, свистящие в ключи. И уже пел на улицах одинокий человек из тех, на чьих лбах написано имя Бога. (Шорох насекомых, без исхода на свалке!..)
И здесь не место рассказывать вам о наших связях с людьми другого берега; вода, поднесенная в бурдюках, поборы конницы для портовых рабочих, и оплата принцев рыбьей монетой. (Ребенок печальный, как смерть обезьян, — старшая и прекрасная сестра — поднес нам перепелку в розовом атласном башмаке.)

...Одиночество! синее яйцо, снесенное большой морской птицей, и заливы поутру, все покрытые золотыми лимонами! — Это было вчера! Птица исчезла!

Завтра празднества, клики, улицы, обсаженные стручковыми деревьями, и чистильщики, увозящие на рассвете огромные куски мертвых пальм, обломки гигантских крыльев... Завтра празднества,
выборы портовых чиновников, вокализы в пригородах, и под теплой тяжестью грозы

город, пожелтевший, покрытый тенью, с девичьими штанами в окнах.

*

...В третий лунооборот те, кто бодрствовали на хребтах холмов, сложили паруса свои. Сожгли в песках тело женщины. И человек подошел ко входу в Пустыню, — как и его отец, торговец бутылками.

V

Для души моей, дальним делам не чуждой, сто огней городов, оживленных лаем собак...
Одиночество! Наши безумные сторонники хвалили нам наши нравы, но мыслью мы были уже у стен иных:
«Я никому не приказывал ждать... Я всех вас нежно ненавижу... И что сказать о песне этой, которую вы исторгаете у нас!»
Вождь бессчетных подобий, ведомых к Мертвым морям, где взять нам ночной воды, чтобы промыть глаза?
Одиночество! толпами звезды ходят по краю мира на задворках, захватывая домашнее светило.
Соединенные Короли неба сражаются на моей крыше и, господа высот, разбивают на ней лагеря.
Да пойду я один с дуновениями ночи к Принцам, к памфлетистам, туда, где паденье Белид.
Душа, сроднившаяся в молчании со смолой Мертвых! иголками прошиты веки! слава ожиданию под тенью ресниц!

Ночь дает молоко, остерегайтесь! и пусть медовый палец тронет губы расточителя:
«... Плод женщины, о царица Савская!» Предавая душу наименее сдержанную и носясь над чистыми ядами ночи,
я восстану в мыслях своих против действия сна; я уйду с дикими гусями, в пресном
запахе утра!
— А! знали ли мы, когда гасла звезда над пристанищами служанок, что уже столько новых копей
преследовали в пустыне кремнекислые соли Лета?
«Заря, считали вы...» У берега Мертвых морей умывание!
Те, кто голыми спали в огромное время года, толпами встают на земле
— толпами встают и кричат
что этот мир безумен! Старец шевелит веками при желтом свете; женщина
вытягивается на ногте;
и смолистый жеребец кладет свой пушистый подбородок в руку ребенка, не
думающего еще о том, чтобы проколоть ему глаза...
«Одиночество! Я никому не приказывал ждать... Я отсюда уйду, когда захочу...» И Чужеземец, одетый новыми мыслями своими, находит еще сторонников на путях молчания: его глаз
подернут слюной,
в нем ничего человеческого. И земля в своих зернах крылатых, как речи поэта,
путешествует...

## VI

Всевластные в наших главных военных округах, с дочерьми нашими, одетыми в ткани, как воздух,
мы на высотах расставили ловушки счастью. Изобилие и довольство, счастье! И долго
стаканы наши, где лед мог запеть, как Мемнон...
И прекращая близ угла уступов стычку молний, огромные золотые блюда в руках служанок косили скуку песков у пределов мира.
Затем был год дуновений на Запад, и на крышах наших, заваленных черными камнями, разговор резвых холстов, преданных радости открытого моря. Всадники на обрыве мысов, под угрозами светоносных орлиц, неся
на копьях ясные катастрофы погожих дней, обнародовали на морях пламенную летопись:
Кончено! рассказ для людей, мужественная песня для людей, как дрожь открытого моря в железном дереве!.. законы, данные на иных берегах, и союзы, благодаря женщинам, в лоне рассеянных народов; большие страны, проданные на торгу под солнечной опухолью, мир на высоких плоскогориях и области, назначенные к продаже в торжественном запахе роз...
Тем, кто не чуял, рождаясь, тлеющих углей этих, — что делать им среди нас? И может ли быть, что они в общении с живыми? «Вам, а не мне царить над их отсутствием...» Мы, бывшие здесь, вызвали на границах необыкновенные происшествия и, силы свои истощив, мы радовались среди вас великой радостью:
«Я знаю это племя, основавшееся на склонах: всадни-

ки, сбитье в жизненных трудах. Пойдите и скажите им: огромная опасность для тех, кто с нами! Подвиги без числа и без меры, воли могучие и расточительные, и власть человека, утаенная, как гроздь в лозе. Пойдите и ясно скажите: наши жестокие нравы, наши лошади быстрые и спокойные на зачатках восстаний, и шлемы наши, чуемые яростью этого дня... В истощенных странах, где достойны хулы обычаи, где семьи надо собрать как выводки певчих птиц, вы встретите нас, действующих по-своему, собирающих народы под обширными кровлями, громогласно читающих грамоты, и двадцать племен нам подвластных, говорящих на всех языках...

«Теперь вы уже знаете историю их вкуса: бедные капитаны на бессмертных дорогах, старейшины, толпой пришедшие нас приветствовать, все совершеннолетние этого года со своими богами на жезлах и короли, свергнутые в песках Севера, и их дочери, подчиненные им, приносящие нам уверения в своей верности, и Господин, говорящий: я верю в свою судьбу...

«Или вы рассказываете им о мирной жизни: в странах, наводненных довольством: запах форума и зрелых женщин, желтые монеты чистого звона, передаваемые из рук в руки под пальмами, и народы, движимые сильными пряностями — расходы на армию, установка сильного влияния под носом у рек, привет от мощного соседа, сидящего в тени своих дочерей, и обмен посланий на тонких золотых листках, миры, дружественно заключенные, и установка границы, договоры между народами о запруде рек и подати, наложенные на восторженные страны! (постройка цистерн,

амбаров, зданий для кавалерии, ярко синие полы и дороги из розового кирпича — развертыванье материй когда вздумается, варенье из роз на меду, и жеребенок, родившийся в армейском обозе, развертыванье материй когда вздумается и, в зеркалах наших снов, море, заржавливающее мечи, и спуск однажды вечером в морские области к нашим странам великой праздности и к нашим дочерям
«раздушенным, которые успокоят нас дыханием, этими тканями...»)
Так иногда наши пороги торопит странная судьба и на быстрых шагах дня, с этой стороны мира, самого обширного, где добровольно власть уходит каждый вечер, целое вдовство лавров!
Но однажды под вечер дыхание фиалок и глины в руках дочерей наших жен посетило нас среди замыслов наших об устройстве и счастье.
И спокойные ветры носились в глубине пустынных заливов.

## VII

Не вечно будем мы жить в этих желтых землях, усладе нашей...

Лето обширнее, чем царство, подвешивает к скрижалям пространства несколько этажей климата. Огромная земля на своем гумне катит, полна до краев, свои угли, гаснущие под золой.
Цвет серы и меда, цвет вещей бессмертных, вся земля с травами, зажигаемыми соломой минувшей зимы, и из

зеленой губки единственного дерева небо берет свой лиловый сок.

Месторождение слюды! Ни одного нет чистого зерна в бородах ветра. И свет, как масло. Сквозь щели век, соединяющих меня с зубцами вершин, я знаю камень, запятнанный жабрами, рог молчания в ульях света, и сердце мое начинает заботиться о семействе акрид.

Самки верблюдов, спокойные во время стрижки, покрытые лиловыми рубцами, пусть спешат холмы под данными полевого неба, пусть движутся в молчании по бледной равнине, добела раскаленной, и пусть преклонят, наконец, колени в дыму снов, где в мертвой пыли земли гибнут народы.

Большие спокойные линии уходят к синеве невероятных виноградников. В нескольких краях земли зреют фиалки грозы; и эти облака песков, которые плывут над руслами умерших рек обломками веков...

Тише голос над мертвецами, тише голос днем. Сколько нежности есть в человеческом сердце, неужели найдется ей мера?... «Я обращаюсь к вам, моя душа! — душа моя, лошадиным запахом омраченная». И несколько летящих на запад огромных земных птиц удачно подражают нашим морским птицам...

На востоке неба, такого же бледного, как священная местность, запечатленная бельем слепца, располагаются спокойные облака, там, где вращаются скорпионы камфоры и копыта. Дымы, из-за которых с нами спорит дыханье! земля в бородах насекомых, вся ожидание, земля рождает диковины!..

И в полдень, когда подорожник открывает камни могил, человек опускает веки и освежает он в столетьях

затылок свой. Всадники сновидений вместо мертвых песков, о тщетные дороги, дыханием обращенные к нам! где найти, где найти воителей, которые будут охранять реки в день их брака?

При шуме великих вод, движущихся по земле, вся соль земли дрожит в сновиденьях. И вдруг, а! вдруг, что эти голоса от нас хотят? Поднимите народы зеркал над

покойницкой рек, пусть шлют они призыв векам грядущим! Поднимите камни в честь мою, поднимите камни в молчании, и на страже этих мест на огромных дорогах конница из зеленой бронзы!..

(Тень огромной птицы проходит по лицу моему.)

## VIII

Закон о продаже кобыл. Блуждающие законы. Мы сами (Цвет человека).

Наши спутники, эти высокие странствующие смерчи, корабельные часы, идущие по земле,

и торжественные ливни чудесного состава, сотканные из пыли и насекомых,

преследовавших наши народы в песках, как подушная подать.

(В меру наших сердец было столько разлук!)

Не то чтоб переход бесплоден был: шагом безбрачных животных (наших лошадей: чистых, по мнению старших), много предпринято в потемках разума — много праздного

на границах разума — великие истории о Селевкидах

при свисте недовольных и земля, принужденная дать объяснение...
Другое дело: эти тени, козни неба против земли...
Всадники через человеческие семьи, где ненависть порою пела, как синица, поднимем ли мы бич на счастья холощенные слова? Человек, измерь свой вес, сосчитанный в пшенице. Эта страна мне не принадлежит. Что мне дал мир, кроме шороха трав?
Вплоть до местности, называемой местностью Сухого Дерева:
и голодная молния отдает мне области на западе.
Но за ними нескончаемые дороги и в огромной стране, забывчивых лугов, год без оков и памятных дней, приправленный зорями и огнями
(Утреннее жертвоприношение сердца черного барана).

*

Земные дороги, некто вами идет. Власть над каждым знаменьем земли.
О странствующий в желтом ветре, вкус души!.. и семя, говоришь ты, индейского папоротника обладает, пусть разобьют его! опьяняющими свойствами.

*

Насилия великое начало владело нами.

## IX

В течение долгого времени, покуда на Запад мы шли, что знали мы о вещах смертных?.. И вдруг у наших ног первые дымы...

— Молодые женщины! и вся природа страны благоухает.

*

«...Я тебе возвещаю времена великой жары и крикливых вдов над рассеянием мертвых.

Те, что стареют, храня и лелея молчание,

Сидя на горных вершинах, глядят на пески

И знаменитость сегодняшняя на открытых гаванях.

Но наслаждение рождается в плоти женщин, и в наших женских телах есть как бы закваска черного винограда, и нет отсрочки для нас самих.

«...Я тебе возвещаю времена великого благополучия и блаженство листвы в наших снах.

Те, что знают истоки, находятся с нами в изгнании, те, что знают истоки, скажут ли вечером нам,

под чьими руками, давящими лозы наших бедер, слюной наполняются наши тела? (И

женщина легла в траве с мужчиной, она встает и оправляет платье, и сверчок улетает на своих синих крыльях.)

«...Я тебе возвещаю времена великой жары, а также ночь под лай собак доит наслаждение из женских бедер.

Но Чужеземец живет под шатром, одариваемый молоком и плодами. Ему приносят ключевой воды, чтобы омыть рот, лицо и пол.

Ему приводят к ночи больших бесплодных женщин (а! еще более ночных при дневном свете). И быть может, от меня он примет наслаждение. (Я не знаю привычек его в обращении с женщинами.)

«...Я тебе возвещаю времена великого благополучия и блаженство родников в наших снах. Открой на свету мой рот, как медовую местность меж скал. И если во мне найдут изъян, да буду я изгнана!

Если же нет, пусть войду я в шатер, пусть войду я нагой близ кувшина, в шатер

и спутник с угла гробницы, меня ты долго будешь видеть немой под деревом — дочерью моих вен. Ложе настояний под шатром, зеленая звезда на дне кувшина, и да буду я под твоею властью! Нет служанки в шатре, кроме кувшина со свежей водой! (Я уходить умею на заре,

не разбудив зеленую звезду, не потревожив сверчка на пороге, не вызвав лая собак всего мира).

«...Я тебе возвещаю времена великого благополучия и блаженство вечера на наших тленных веках...

Но теперь еще день!»

— И стоя на ослепительном ребре дня, на пороге великой страны, более чистой, чем смерть,

мочились девушки, раздвинув полотна пестрых одежд.

## X

Выбери большую шляпу, края которой будут соблазнены. Глаз отступает на столетие к областям души. Через ярко-лиловую дверь видны вещи долины: вещи живые, о вещи

превосходные!

Жертвоприношение жеребят на могилах детей, очищение вдов среди роз и слет зеленых птиц на дворах в честь старцев;
Надо много вещей на земле услыхать и увидеть, вещей живых между нас!
Празднование под открытым небом годовщин больших деревьев и общественные торжества в честь лужи; посвя-
щение черных камней, совершенно круглых, открытие ключей в бесплодных местностях, освящение тканей на концах шестов у входа в ущелья и буйные приветствия под стенами увечию взрослых на солнце, выставленному напоказ свадебному белью!

Много другого еще на уровне наших висков: холощение зверей в предместьях, движение толпы навстречу стригущим овец, роющим колодцы и холостящим жеребцов; размышление в дыхании жатвы и проветривание пастбищ, концами вил, на крышах; постройка изгородей из глины розовой и обожженной, сушилок для мяса уступами, галерей для священников, жилищ для капитанов, огромные дворы ветеринара, тяжелый труд поддерживания дорог для мулов, дорог, вьющихся в ущельях, закладка приютов в неопределенных местностях, счета в день прибытия караванов и роспуск охраны в участках менял; известности, нарождающиеся под навесом перед чанами для горячего жира; опротестование долговых обязательств; уничтожение белых червей под землей, сжигание шипов и игл в местах, оскверненных смертью, выпечка прекрасного

ячменного или кунжутного хлеба; или хлеба из полбы; и во всех областях человеческий дым...

А! разные люди на путях и обычаях их: пожиратели насекомых, водяных плодов, носящие пластыри богатства; земледелец и возделыватель адали, кровопускатель и солевар, мытарь, кузнец, продавец сахара, корицы, кружек для питья из белого металла и роговых ламп; тот, что кроит одежды из кожи, деревянные сандалии и пуговицы в форме маслины; дающий свои навыки миру, и человек без ремесла: человек с соколом, человек с флейтой, человек с пчелами; тот, кто черпает удовольствие в звуке своего голоса, тот, кто занят созерцанием зеленого камня; кто зажигает для развлечения костер из коры на своей крыше; кто стелет себе ложе на земле из пахучей листвы, кто ложится на него

и отдыхает; кто размышляет о рисунках зеленой керамики для бассейнов с проточной водой, и тот, кто совершил путешествие и вновь думает об отъезде; живший в дождливой стране; играющий в кости, в бабки, или тот, кто разложил на земле свои счетные таблицы; имеющий виды на использование тыквы, волочащий следом за собой мертвого орла, как связку хвороста (и дарят перо, а не продают, для украшения луков), собирающий пыльцу в деревянный корабль (И радость для меня, говорит он, в той желтой краске); тот, кто ест оладьи, пальмовых червей, малину; любящий вкус эстрагона, мечтающий о перчинке; или еще тот, кто жует окаменелую резину, имеющий ушную раковину и улавливающий благоухание гения в свежих обломках камня; думающий о женском теле,

сластолюбец; тот, кто видит свою душу при отблеске лезвия; человек, погруженный в науку, в именные списки; человек, имеющий влияние в советах, дающий названия источникам, дарящий скамьи под деревьями, шерсть, окрашенную для мудрецов, и приковывающий на перекрестках огромные бронзовые кубки для жажды; еще лучше тот, который ничем не занимается, — такой-то, и другой, и столько еще прочих! Ловец перепелов в складках земли, те, кто собирают в хворосте яйца, крапленые зеленым, те, кто сходят с лошади, чтобы поднять вещи, агаты, бледно-голубой камень, обтачиваемый при въезде в пригород (вроде футляров, табакерок и застежек или же шаров для катания в руках паралитика); те, кто разрисовывают ящички для драгоценностей, сидя на открытом воздухе и посвистывая, человек с палкой из слоновой кости, человек с плетеным стулом, отшельник с руками девушки и воин в отпуске, воткнувший свое копье на пороге, чтобы к нему привязать обезьяну! а! разные люди на разных дорогах и разных привычек и вдруг! появившийся в своих вечерних одеждах и решающий один за другим все вопросы первенства. Рассказчик, который занимает место у подножья скипидарного дерева.

О генеалог на площади! Сколько рассказов о семьях и о родословных? — и пусть мертвый охватит живого, как это говорится на скрижалях Законоведа, если не видел я и тень всего и достоинства возраста: склад книг и хроник, лавки астронома и красота мест погребенья, древнейшие храмы под пальмами, обитаемые

мулом и тремя белыми курицами, и там, за ареной моего глаза, множество тайных предприятий в ходу: лагерь, снявшийся с места при получении новостей, от меня ускользающих, самоуверенность народов у холма и переправа через реки на бурдюках; всадники, везущие брачные письма, засада в виноградниках, затеи разбойников в глубине ущелий и перебежки через поля, чтобы похитить женщину, торговля и заговоры, случка животных в лесу, на глазах у детей, и извлечения пророков в глубине бычьих хлевов, немые разговоры двух мужчин под деревом.

Но над поступками людей на свете есть много знамений в пути, много семян в пути, и над опресноками прекрасной погоды в мощном дыханье земли все перо урожая!..
до вечернего часа, покуда женственная звезда, вещь чистая и данная нам на высотах
неба в залог...

Пахота сна!.. Кто говорит о постройках? — Я видел землю, разделенную на обширные пространства, и мысль моя не покидает моряка.

## ПЕСНЯ

Остановив мою лошадь под деревом, полным голубок, я свищу таким чистым свистом, что нет берегам обещаний, которые сдержат реки (Листья, утром живые, живут по образу славы)...

* * *

И не то чтобы человек не был грустен, но, встав до зари, осторожно стоя под старым деревом, опершись подбородком на последнюю звезду, видит он в глубине голодного неба великие чистые вещи, которые превращаются в радость...

* * *

Остановив мою лошадь под воркующим деревом, я свищу еще более чистым свистом... И мир не видевшим этого дня, если умрут они. Но о моем брате, поэте, получены известия. Он опять написал очень нежную вещь. И некоторые прочли ее...

*Алексис Раннит*

## 176. ЛИТАНИЯ

Разлука — пролетает желтая птица
разлука — вдалеке высятся горы
разлука — тьма непроглядна
разлука — близятся грозы
разлука — пустыня, пустыня
разлука — рана не заживает

но не плачь — у тебя за спиною крылья.

## 177. ОСЕНЬ

Все, все перемешай:
    и красный блеск Дамаска
    с зеленым цветом ириса,
и Аттики
        коричневую тень
с сияньем белым
            золота,
и пурпур горестный
с мерцаньем
          камня лунного,
и ржу этрусскую

с холодной

синевою бури.

Все, все перемешай
и помни:
в красках — радость,
в линии — боль.

## 178

О, не ищи игры в напеве,
застывшем в строгости своей.
Пойми: как звезды в темном небе
алмаз тем ярче, чем белей.

Пусть сердце бурями задето,
пусть пламя рдеет в них подчас,
единому будь верен свету,
не краскам, не теплу, — а свету,
тому, что виден сквозь алмаз.

# ПРИМЕЧАНИЯ

В книгу вошли все известные на сегодняшний день произведения Адамовича стихотворного жанра. В основе тома — составленная самим Адамовичем итоговая книга стихотворений «Единство» (1967), в дополнениях — стихотворения ранних сборников «Облака» (1916), «Чистилище» (1922), «На Западе» (1939), а также переводы (за исключением произведений большого объема).

Поэтическое наследие Адамовича сравнительно невелико. Нам известно 159 текстов, напечатанных им при жизни. Еще шесть были опубликованы посмертно, и один впервые публикуется здесь. Итого — 166 текстов, но в частных собраниях могут еще быть находки. Ю. Иваск пишет, что Адамович «дал в печать не более ста стихотворений, хотя как-то мне признался, что писал их часто, но "не предавал тиснению"» (НЖ. 1972. № 106. С. 286). Вероятно, с легкой руки Иваска число «сто» фигурирует во всех справочниках.

Редактором собственных стихов Адамович был невероятно строгим. В «Единстве» перед нами своеобразный тройной отбор — во-первых, поэт, по справедливому выражению Николая Вадвича, «всегда охотнее промолчит, чем скажет лишнее», пишет только когда не писать не может. Во-вторых, в печать отдает после многих размышлений и скрепя сердце, поскольку по большей части все, что вышло из под его пера, «не вполне устраивало и его самого». В третьих, на склоне лет он просмотрел все опубликованное и отобрал стихи, выдержавшие, по его мнению, проверку временем. В сознании потомков он намеревался остаться именно этим тщательно отобранным корпусом стихотворений. И, в общем-то, нет оснований нарушать его

авторскую волю. В том, что ко многим своим стихам он был незаслуженно строг, легко убедиться, обратившись к стихам из ранних сборников, помещенным в дополнения.

Даты под стихами (в тех немногочисленных случаях, когда Адамович их проставлял) воспроизводятся и в настоящем издании. Если стихотворение было датировано в ранней редакции, а в книжном издании дата была снята, она приводится в угловых скобках. В большинстве же случаев нам известна только дата первой публикации. Предположительная датировка стихотворений, данная составителем, приводится в примечаниях в угловых скобках со знаком вопроса.

Тексты печатаются в последней авторской редакции с исправлением типографских погрешностей и в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации (но с сохранением специфических особенностей, отражающих индивидуальную авторскую манеру).

В примечаниях указываются первые публикации стихотворений, а также наиболее существенные лексические разночтения в ранних вариантах стихов (пунктуационные разночтения не фиксируются, за исключением наиболее значимых случаев). Поскольку количество разночтений невелико, в книге не выделен особый раздел «Другие редакции и варианты», традиционный для изданий «Библиотеки поэта»; предполагаемая этим разделом текстологическая информация сообщается непосредственно в примечаниях. Библиографическая информация о немногочисленных, как правило, перепечатках стихотворений также включена в примечания, за исключением двух сборников, содержавших большое количество стихотворений. А именно, стихотворения №№ 1—3, 5—27, 29—31, 33—120, 122—126, 129—130, 150—151, 157—162, 164—165 составили книгу: *Адамович Г.* Стихотворения. Томск: Водолей, 1995; стихотворения №№ 1—45, 72, 75, 79—80, 85, 87, 99, 117—

121, 123—130, 136, 140, 143, 153—162, 164—165, 171—172 были включены в сборник: *Адамович Г.* Одиночество и свобода / Вступ. статья, сост. и прим. В. Крейда. М.: Республика, 1996.

Начиная с 1987 года стихи Адамовича множество раз печатались подборками в периодике, антологиях и отдельными сборниками, но комментированное их издание было осуществлено лишь однажды, в составе тома: *Адамович Г.* Одиночество и свобода / Вступ. ст., сост. и прим. В. Крейда. М.: Республика, 1996. Эти примечания нами учтены, а также учтены разыскания и отдельные наблюдения Роджера Хэглунда, М. Л. Гаспарова, Р. Д. Тименчика, Н. А. Богомолова, А. В. Лаврова.

Пользуясь случаем, хочется поблагодарить всех, кто помогал советами, справками и предоставленными материалами: Р. Д. Тименчика (The Hebrew University of Jerusalem), А. Б. Устинова (San Francisco) Татьяну Чеботареву (Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, New York), Жоржа Шерона (California Institute of Technology, Los Angeles), А. Б. Рогачевского (University of Glasgow), С. Р. Федякина (Литературный институт, Москва), В. В. Леонидова (Библиотека-архив Фонда культуры, Москва), Е. А. Голлербаха (Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург), Е. А. Кольчужкина (издательство «Водолей», Томск), А. В. Яковенко (Томская областная научная универсальная библиотека им. А. С. Пушкина).

## Список условных сокращений

АППЭА — Антология петербургской поэзии эпохи акмеизма. Мюнхен, 1973.

ВП — Воздушные пути. Нью-Йорк, 1960—1967. №№ 1—5.

200 поэтов — Вернуться в Россию стихами.. 200 поэтов эмиграции: Антология / Сост. Вадим Крейд. М.: Республика, 1995.

Е — Адамович Г. Единство: Стихи разных лет. Нью-Йорк: Русская книга, 1967.

ЕШ — Русская поэзия XX века: Антология русской лирики от символизма до наших дней / Под ред. И. С. Ежова и Е. И. Шамурина. М., 1925.

ЖРП — Жемчужины русского поэтического творчества / Ред. Т. А. Березний. Нью-Йорк: Изд-во Общества Друзей Русской Культуры, 1964.

Звено — Звено. Париж, 1923—1928. (5 февраля 1923 — 19 июня 1927. №№ 1—229; 1 июля — 1 декабря 1927. №№ 1—6; 1 января — 1 июня 1928. №№ 1—6).

ИНП — Из новых поэтов: Сборник стихов / Сост. Борис Бродский. Берлин: Мысль, 1923.

ИР — Иллюстрированная Россия. Париж, 1924—1939.

Ковчег — Ковчег: Поэзия первой эмиграции / Сост. Вадим Крейд. М.: Республика, 1991.

Муза диаспоры — Муза диаспоры: Избранные стихи зарубежных поэтов. 1920—1960 / Сост. Ю. Терапиано. Франкфурт: Посев, 1960.

НЖ — Новый журнал. Нью-Йорк, 1942—.

НЗ — *Адамович Г.* На Западе. Париж: Дом книги, 1939.

НРС — Новое русское слово. Нью-Йорк, 1920—.

О — *Адамович Г.* Облака: Стихи. М.; Пг.: Альциона, 1916.

Опыты — Опыты. Нью-Йорк, 1953—1958. №№ 1—9.

ПН — Последние новости. Париж, 1920, 27 апреля—1940, 11 июня. №№ 1—7015.

РЗ — Русские записки. Париж; Шанхай, 1937—1939. №№ 1—20/21.

РМ — Русская мысль. Париж, 1947—.

РН — Русские новости. Париж, 1945—1970. №№ 1—1288.

РПСВ — Русская поэзия «серебряного века», 1890—1917: Антология / Под ред. М. Л. Гаспарова, И. В. Корецкой. М.: Наука, 1993.

СЗ — Современные записки. Париж, 1920—1940. №№ 1—70.

Собр. соч. Стихи — *Адамович Г. В.* Собрание сочинений: Стихи, проза, переводы / Вступ. статья, сост. и прим. О А. Коростелева. СПб.: Алетейя, 1999.

ЦП-1. — Дракон: Альманах стихов. Вып. 1. Пг., 1921. (Переизд.: ЦП-1. Берлин, 1923).

ЦП-2. — Альманах цеха поэтов. Кн. 2. Пг., 1921 (Переизд.: ЦП-2-3. Берлин, 1923).

ЦП-3 — Цех поэтов. 3. Пг., 1922. (Переизд.: ЦП-2-3. Берлин, 1923).

ЦП-4 — Цех поэтов. Альманах. № 4. Берлин, 1923.

Ч — *Адамович Г.* Чистилище: Стихи. Книга вторая. Пб.: Петрополис, 1922.

Числа — Числа. Сборники. Париж, 1930—1934. №№ 1-10.

ЭРП — Эротика в русской поэзии: Сборник стихов / Под ред. Бориса Бродского. Берлин: Русское универсальное изд-во, 1922.

Якорь — Якорь: Антология зарубежной поэзии / Сост. Г. В. Адамович и М. Л. Кантор. Берлин: Петрополис, 1936.

BAR — Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture. The Rare Book and Manuscnpt Library. Columbia University. New York.

## *ЕДИНСТВО (1967)*

Сборник «Единство. Стихи разных лет» (Нью-Йорк: Русская книга, 1967) Адамович рассматривал как свое поэтическое завещание. Книга включала тщательно отобранные автором 45 лучших стихотворений, написанных на протяжении полувека (из них 28 входили в сборник «На Западе», в том числе 4 стихотворения, публиковавшихся прежде и в «Чистилище»). Почти все стихи были впервые опубликованы в эмигрантской периодике — в «Звене», «Современных записках», «Числах», «Опытах», «Новом журнале» и др.

Подготовка книги началась задолго до выхода ее в свет. В письме Александру Бахраху 14 декабря 1964 года Адамович писал: «Сидел все эти дни над эвентуальным сборником своих стихов, который собирается издать Раннит из Yale (т. е. университета). Сегодня послал ему рукопись, но с чувством, что все не то и не так, кроме 2—3 "пьес", как выразился Ходасевич» (BAR. Coll. Bacherac. Box 1). Спустя год, в письме Игорю Чиннову 16 декабря 1965 г. Адамович писал: «Сборник стихов должен был выйти к концу года. Но Раннит (Yale), который за это дело взялся и хочет написать предисловие (или, кажется, послесловие), медлит, тянет и до сих пор ничего не написал. Я его не тороплю, т. к. торопить и нет причин. Вероятно, к лету книжка все-таки выйдет» (НЖ. 1989. № 175. С. 260—261).

Итоговый сборник патриарха эмигрантской поэзии был встречен с соответствующим пиететом. «Тема смерти — во всей ткани поэзии Адамовича, — писал в своей рецензии Роман Гуль. — Поэзия "Единства" идет в высокой русской лирической традиции — пушкинско-тютчевско-баратынской. Эта небольшая книжка — одна

из ее подлинных "нот". Под конец жизни Адамович выговорил какие-то слова высокой значимости для каждого человека <...> эта книга, думаю, останется в большой русской лирике» (НЖ. 1967. № 89. С. 279).

Юрий Иваск выводил существенно иную и гораздо более убедительную родословную стихов «Единства». По его мнению, Георгий Адамович «на свой особый лад допел Лермонтова, Блока, Анненского <...> "Единство" Адамовича — книга о немодном теперь "самом главном" и, может быть, тем самым, она оправдывает и поощряет такие беседы о многом, даже обо всем... Это не только книга хороших стихов, имеющих несомненные формальные достоинства и неуловимую прелесть, неподдающуюся анализу. Стихи Адамовича будят мысль, незаметно очаровывают и глухо звенят где-то на самом "дне сознанья", за что-то укоряя или же что-то обещая» (*Иваск Ю.* Эпоха Блока и Мандельштама // Мосты. 1968. № 13/14. С. 234, 235).

«Адамович — мастер срывающегося голоса, мастер обреченного шепота, — по определению Ольги Анстей, — мало кто умеет так обреченно шептать о смерти, как Адамович» (*Анстей О.* Разговор под дождь // НРС. 1967. 27 августа).

Юрий Терапиано находил, что «"Единство" — это очень русские стихи, органически связанные с большой линией нашей поэзии, но Георгий Адамович не только русский, но еще и европеец. В его стихах нет и тени постоянно врывающегося в произведения большинства современных русских поэтов какого-то неистребимого провинциализма. В "Единстве" и вкус, и тон, и уровень, и трезвый, ясный, порой даже несколько картезианский ум безупречны. И в то же время чувству дана полная свобода, а уменье вовремя остановиться, "сдержать опьянение и протрезвиться", показывает, какой огромный путь поэти-

ческого опыта и внутреннего искуса необходимо пройти поэту, чтобы так говорить о самом для него значительном и важном <...> "Единство", в своей самой сокровенной сущности, глубоко христианская книга, мотивы греха, раскаянья и смирения, в высшем смысле, то есть в сознании ограниченности человеческого "я", мы встречаем повсюду, — и не в виде "выставленного напоказ", а без всякого "нажимания на педаль", в простом, трезвом и ясном утверждении того, что есть самого подлинного в человеке» (Русская мысль. 1967. 28 сентября).

Игорь Чиннов в статье «Смотрите — стихи» отмечал «тяготение к евангельской простоте, к сосредоточенности на самом важном, на единственно серьезном <...> По глубине чувства, по силе жажды слов незаменимых, освобожденных от случайности, "предельных" — эта книга, действительно, томов премногих тяжелей» (*Чиннов И.* Смотрите — стихи // НЖ. 1968. № 92. С. 138).

Тираж книги за рубежом расходился на протяжении четверти века, остатки его были ввезены в Россию и в течение нескольких недель 1992 года распроданы книжными магазинами Москвы и Новосибирска.

В России стихи из книги начиная с 1987 года широко печатались во многих журналах, газетах и альманахах, а также практически во всех антологиях, посвященных литературе русского зарубежья, но целиком в авторском составе сборник был переиздан лишь раз: Собр. соч. Стихи. С. 77—123.

Все тексты печатаются по сборнику 1967 года.

**1.** Встреча. [Париж], 1945. № 2. С. 13. С разночтением в 5 строке: «Сквозь умаленья, повторенья». Перепечатывалось: Е. С. 5; АППЭА. 1973. С. 147; Даугава. 1988. № 1 С. 113; Лепта. 1991. № 2. С. 151—152; Ковчег. С. 35. А. Бахрах, рецензируя второй сборник

«Встреч», отозвался о его стихотворном отделе в целом негативно, сделав одно исключение: «только стихи Адамовича с некоторым деланным смирением, что не лишает их пронзительности, говорят о беспомощности языка и о чем-то, чего не выскажешь словами. Но при этом Адамович поэт слишком умный и опытный, чтобы впадать в умничанье. Стихи его просты при всей их двупланности. Зато как эта простота (хотя бы и нарочитая) оттеняется соседствованием иных строф, в которых "мудрость" желает быть высказана любой ценой» (РН. 14 декабря. № 31. С. 3. Подп.: А. Б.). В своем отзыве на «Единство» Юрий Иваск писал об этом стихотворении Адамовича: «"Иных поэзий торжество" для него — измена музыке, небу» (*Иваск Ю.* Эпоха Блока и Мандельштама // Мосты. 1968. № 13/14. С. 233).

**2.** СЗ. 1929. № 40. С. 238. Под названием «Голос» и с разночтениями — 9—12 строки: «Я не слушаю, не отвечаю, Я дышу, гляжу на белый свет... Только понемногу умираю Голосу любимому в ответ». Перепечатывалось: НЗ. С. 12; Е. С. 6; Ковчег. С. 35; Алтарь. 1994. С. 130.

**3.** Звено. 1923. 19 ноября. № 42. С. 2. С разночтением во 2 строке: «Оставь сестру и брата». Перепечатывалось: СЗ. 1932. № 27. С. 145; Якорь. 1936. С. 65; НЗ. С. 5; Во славу Божию. Нью-Йорк, 1945. С. 31; ЖРП. 1964. С. 290; Е. С. 7; Ковчег. С. 24; Алтарь. 1994. С. 129.

**4.** НЖ. 1960. № 58. С. 93—94. Под названием «Отрывок» с разночтением в 20 строке: «Нет, я не болен, не схожу с ума» и дополнительной четвертой строфой:

Пообтрепалась ты в чужой столице,
Был даже слух, что по рукам пошла,
А петь не Бог весть что за мастерицей,
По совести, и прежде ты была.

Перепечатывалось: Е. С. 8—9; Лепта. 1991. № 2. С. 153—154. ...«с восторгом сладострастья». Выражение неоднократно встречается в стихах начала XIX в., например, у Пушкина в ст-нии «Месяц» (1816), в отрывках из поэмы «Воспоминание» (1820) и др. *...Небо то же. Снег, рестораны, фонари, дома...* Тема повтора, возможно, вызвана к жизни стихотворением Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека...» (1912).

**5.** Звено. 1923. 17 сентября. № 33. С. 2. Неоднократно перепечатывалось: ЦП-4. С. 6; НЗ. С. 6; На Западе. 1953; Е. С. 10; Литературная Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19; Звезда. 1988. № 9. С. 127; Лепта. 1991. № 2. С. 151; Ковчег. С. 22; Алтарь. 1994. С. 129; Гнозис. 1995. № 11. С. 29. Георгий Иванов взял это стихотворение в качестве эпиграфа к своей книге «Петербургские зимы» (Париж, 1928).

**6.** ЦП-3. С. 6. С разночтениями — 2 строка: «Эта вьюга мешает, ведь мы заблудились в пути...», 6 строка: «Рестораны распахнуты, стынет дыханье в груди...», 10 строка: «Но как скошены ноги, я больше бежать не могу...», 12 строка: «Все погибло, все кончено... Видишь ты, кровь на снегу...». Исправления были внесены при публикации стихотворения в сборнике «На Западе» (1939), после чего стихотворение перепечатывалось без изменений: Ч. С. 11—12; ЦП. Берлин, 1923. № 2—3; З. 1924. 16 июня. № 72. С. 2—3; НЗ. С. 24—25 (с разночтениями); На Западе. 1953; Е. С. 11; АППЭА. 1973. С. 145; Литературная Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19; Волга. 1990. № 12. С. 127; Ковчег. С. 23; Человек. 1992. № 6. С. 185; Алтарь. 1994. С. 132; Венок Пушкину. М., 1994. С. 37. Обстоятельный разбор блоковских реминисценций в этом стихотворении *см.* в статье: *Фетисенко О. Л.* А. Блок и Г. Адамович (о возможном прочтении одного стихотворения Г. Адамовича) // Российский ли-

тературоведческий журнал. 1997. № 9. С. 78—89; то же: А. Блок: Исследования и материалы СПб., 1998. Вып. 3. С. 90—101.

**7.** СЗ. 1937. № 64. С. 151. С разночтением в 15 строке: «Тогда конец, бессмер... победа». Перепечатывалось: НЗ. С. 7; Е. С. 12; Ковчег. С. 31; Алтарь. 1994. С. 129; Венок Пушкину. М., 1994. С. 169. *«<Бессмертья> может быть, залог»* — из пушкинского «Пира во время чумы» (1830). *«О, если правда, что в ночи...»* — из пушкинского «Заклинания» (1830). *Но если...* Поскольку стихотворение «пушкинское», нельзя исключить аллюзию на стихотворение Пушкина «Ненастный день потух» (1824) с его провалом в недоговоренность и многоточия.

**8.** Числа. 1930. № 1. С. 12. Перепечатывалось: Якорь. 1936. С. 62. В книге «На Западе» (С. 8) опубликован вариант стихотворения с разночтением в первой строке: «За все, что ты помнил когда-то». Этот вариант перепечатан: Алтарь. 1994. С. 130. Позже Адамович вернулся к первоначальному варианту: Грани. 1959. № 44. С. 25; Муза диаспоры. 1960, Е. С. 13; Лепта. 1991. № 2. С. 152; Ковчег С. 26, Человек. 1992. № 6. С. 187; 200 поэтов. С. 25.

**9.** Там же. Перепечатывалось: НЗ. С. 40; Е. С. 14; Ковчег. С. 26; Алтарь. 1994. С. 135.

**10.** НЖ. 1967. № 86. С. 21. Перепечатывалось: Е. С. 15; АППЭА. 1973. С. 149; Даугава. 1988. № 1. С. 113; Ковчег. С. 40—41. *«Тише воды, ниже травы...»* — из стихотворения Блока «Голос из хора» (1910—1914).

**11.** СЗ. 1931. № 46. С. 163. Под названием «Баллада» и с разночтениями — строка 6: «И перекликались прощально рога», строки 9—12: «Лазурью дышу я, не воздухом дымным! Скрипели веревки и голос молил, И верность, как лебедь, над призрачным миром Взлетала и

падала тут же без сил». Без названия перепечатывалось: НЗ. С. 36—37, Лепта. 1991. № 2. С. 155; Ковчег. С. 28—29; Алтарь. 1994. С. 134. Цветаева перед отъездом в Советскую Россию переписала это стихотворение в тетрадь: «— Себе на память — (2 июня 1939 г., пятница)», приписав под ним: «Чужие стихи, но к<отор>ые местами могли быть моими — МЦ)» (Звезда. 1992. № 10. С. 44). Под впечатлением от этого стихотворения Цветаева находилась по крайней мере неделю и цитировала строки из него в письме А. И. Андреевой от 8 июня 1939 года (*Цветаева М.* Собрание сочинений в семи томах. Т. 7. Письма. М.: Эллис Лак, 1995. С. 657). Ариадна Эфрон, разбирая позже записи матери, посчитала, что это стихотворение Ходасевича.

**12.** Числа. 1930/1931. № 4. С. 5—6. Перепечатывалось: НЗ. С. 38; Грани. 1959. № 44. С. 24; Муза диаспоры. 1960; Е. С. 17; Ковчег. С. 28; Алтарь. 1994. С. 134. Строку «О всех оставленных, о всех усталых...» Юрий Иваск выводил из блоковской: «О всех усталых в чужом краю...». По мнению Иваска, «в "Единстве" немало реминисценций из Блока», поскольку «поэзия Георгия Адамовича, как и поэзия Георгия Иванова родилась в блоковском мире, в его *музыке*. Понятие это или — вернее — образ, точному определению не поддается. Это не инструментальная музыка. Это — музыка сфер — та романтическая динамика, о которой писал Ницше в философских комментариях к Вагнеру» (*Иваск Ю.* Эпоха Блока и Мандельштама // Мосты. 1968. № 13/14. С. 231—232). Действительно, например, в данном стихотворении ритмический рисунок строки «О верности, терпении, любви» близок к заглавной строке блоковского стихотворения «О доблестях, о подвигах, о славе» (1908), а «героиня» стихотворения ассоциируется, помимо всего прочего, с блоковской Сольвейг.

**13.** Встреча. [Париж], 1945. № 2. С. 13. С разночтениями — без 3 строки, после 8 строки другой текст: «И не задохнулся, и в смутном волненье Не встал как с ударом землетрясенья, И над морями, над тысячью рек На голос беспомощно звавший не вышел. И не почувствовал, не услышал, Что все обрывается, гибнет навек... А вот, еще говорят — человек!». Перепечатывалось: Е. С. 18; Ковчег. С. 39; Гнозис. 1995. № 11. С. 29.

**14.** Там же. С разночтением в 14 строке: «Все говори, как есть... да, да...». Перепечатывалось: Е. С. 19; Ковчег. С. 35—36.

**15.** Числа. 1930. № 1. С. 13. С разночтением во 2 строке: «Легко и просто, грубо и уныло». Перепечатывалось: Якорь. 1936. С. 62—63; НЗ. С. 56; На Западе. 1953; Грани. 1959. № 44. С. 25; Муза диаспоры. 1960; Е. С. 20; Подъем. 1988. № 11. С. 122; Ковчег. С. 26—27; Человек. 1992. № 6. С. 187; Алтарь. 1994. С. 137; Гнозис. 1995. № 11. С. 29—30.

**16.** Новый корабль. 1928. № 4. С. 3. Перепечатывалось: НЗ. С. 50; Е. С. 21; Лепта. 1991. № 2. С. 154; Ковчег. С. 32; Человек. 1992. № 6. С. 187; Алтарь. 1994. С. 136; 200 поэтов. С. 24. С разночтениями — 5 строка: «Нет блага большего — все потерять», 7 строка: «И никогда ты не был к небу ближе». 3 декабря 1928 года З. Н. Гиппиус писала Адамовичу об этом стихотворении: «Мы (и Дмитрий Сергеевич) вновь остановились в... (не знаю, как сказать: не в восхищении, и не в почтении, ну словом что-то очень хорошее и серьезное) — перед вашим стихотворением, начинающим Корабль. Да, оно *есть*, да еще как! Можете быть спокойны: это одно из лучших (если не лучшее) стихотворений, написанных за последние годы. Не вами, а вообще» (Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippius. München,1972. P. 384—385). Позже, рецензируя эмигрантский сборник

Адамовича, Гиппиус опять вспоминала «За все, за все спасибо. За войну...», выражая сожаление, что «не им начинается книжка "На Западе" <...> так просто, с таким словесным целомудрием оно написано (кто-то назвал его даже "гениальным")» (ПН. 1939. 9 марта. № 6555. С. 3). Игорь Чиннов приводил это стихотворение как наиболее характерное для зрелой поэзии Адамовича. По его мнению, у «Георгия Викторовича все лучшие стихи к этой предельной простоте стремятся, ядро адамовичевской поэзии, в принципе, аскетическое, сознательно обедненное и, принципиально, уже незаменимое в своей окончательной, как бы подвижнической очищенности от всего "неокончательного", необязательного, декоративного» (*Чиннов Игорь.* Вспоминая Адамовича // НЖ. 1972. № 109. С. 139). *За все, за все спасибо...* Один из часто встречающихся у Адамовича мотивов, восходящий к стихотворению Лермонтова «Благодарность» («За все, за все тебя благодарю я...») (1840) (Ср. также №№ 8, 26, 30, 121).

**17.** Круг. 1936. № 1. С. 111. Перепечатывалось: НЗ. С. 15—16; Е. С. 22—23; Лит. Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19; Огонек. 1988. 21—28 мая. № 21. С. 9; Лепта. 1991. № 2. С. 156; Ковчег. С. 29; Человек. 1992. № 6. С. 185; Алтарь. 1994. С. 131. *Гамлет восточный...*— Вертинский, приводя отрывок из стихотворения в своих воспоминаниях, без всяких на то оснований заявил об Адамовиче, что «Гамлетом он называл Сталина» (*Вертинский А.* Дорогой длинною. М., 1990. С. 206). *«Коль славен...»* — первые слова масонского гимна М. М. Хераскова (1733—1807), положенного на музыку Д. С. Бортнянским (1751—1825) в 90-х годах XVIII века первый гимн Российской империи, в XIX веке замененный на официальный государственный гимн «Боже царя храни...». Для Адамовича важно, что с сере-

дины XIX века каждый час «Коль славен...» исполняли куранты Петропавловской крепости, пока после революции их не заставили играть «Интернационал».

**18.** СЗ. 1928. № 37. С. 231. Перепечатывалось: Е. С. 24; Даугава. 1988. № 1. С. 112; Лепта. 1991. № 2. С. 153; Ковчег. С. 25; Человек. 1992. № 6. С. 185—186; 200 поэтов. С. 25.

**19.** СЗ. 1928. № 35. С. 239. Перепечатывалось: Лепта. 1991. № 2. С. 153; Человек. 1992. № 6. С. 186; Ковчег. С. 25. Георгий Иванов, рецензируя тридцать пятую книгу «Современных записок», писал: «Георгия Адамовича в эмиграции все знают, как критика. Знают и то, что он поэт, но в глазах многих поэзия его заслоняется критической работой. Как это несправедливо, просто нелепо, поймет каждый, кто прочтет хотя бы стихи, напечатанные в этой книжке "Современных записок". Говорю хотя бы, потому что любое стихотворение Адамовича свидетельствует, что он один из самых подлинных и своеобразных современных поэтов, и никакая "критическая деятельность", как бы умна и талантлива она ни была, с его поэзией ни в какой уровень не может идти. Как и все стихи Адамовича, и эти три безошибочны на слух, полны лиризма (оттого, что лиризм Адамовича всегда сдержанный, — он только выигрывает в очаровании) и, как всегда, они чуть "тронуты" воспоминанием о родственной Адамовичу поэзии двух великих поэтов: Анненского и Лермонтова» (ПН. 1928. 31 мая. № 2626. С. 3). Александр Бахрах, рецензируя тот же номер «Современных записок», отметил: «Очень приятны стихи Адамовича, который из стоячей воды акмеизма переплыл в русло пушкинской поэтики» (Дни. 1928. 10 июня. № 1445. С. 4).

**20.** Звено. 1923. 17 сентября. № 33. С. 2. Перепечатывалось: ЦП-4. С. 17; НЗ. С. 48—49; Е. С. 26; Литературная Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19;

Ковчег. С. 32—33; Алтарь. 1994. С. 136; 200 поэтов С. 25—26. Обыгрываются строки стихотворения В. Жуковского «Ночной смотр» (1836):

> В двенадцать часов по ночам
> Из гроба встает барабанщик...

**21.** Опыты. 1955. № 4. С. 3—4. Под названием «Посвящение». Перепечатывалось: Е. С. 27—28; Подъем. 1988. № 11. С. 121; Ковчег. С. 38—39. Г. Аронсон, рецензируя четвертую книгу «Опытов», счел, что «стихотворение Г. Адамовича, умелое и искреннее, сорвано к концу риторическим восклицанием: "Чрез миллионы лет я вскрикну: да!"» (НРС. 1955. 1 мая. № 15709. С. 8). Говоря о сборнике «Единство», Игорь Чиннов писал об этом стихотворении Адамовича: «порой уступал он и желанию выйти за пределы аскетической поэзии. Тогда... тогда, нарушая свой догмат: "делать стихи из самых простых вещей, из стола и стула" — он допускал в свою поэзию такие, сказал бы зоил, "предметы роскоши", как "розовый идол, персидский фазан", как "арфы, сирены, соловьи, прибой". Больше того: он вводил патетические сравнения: "как голос из-за океана", вводил декламационные, риторические интонации. И он, апостол аскетизма, включил в свою книгу даже такой, как будто заимствованный у осуждаемого им Фета, почти романс:

> И даже ночь с Чайковским заодно
> В своем безмолвии предвечном пела
> О том, что все обречено,
> О том, что нет ни для чего предела.

Это очень талантливо, но это не Адамович. Это совершенно чужеродно в книге, основной тон которой аскетичен. И все же книга названа (с необычной для него и к нему мало идущей подчеркнутостью) — "Единство"»

(*Чиннов Игорь.* Вспоминая Адамовича // НЖ 1972. № 109. С. 139—140). *«Нет, только тот, Кто знал...»* — популярный романс П И. Чайковского на слова Л. А. Мея (перевод стихотворения Гете из цикла «Миньона», 1796).

**22.** ЦП-4. С. 10. С разночтениями — 2 строка: «Наперекор бессмысленной судьбе», 6 строка: «Оно опутает их всех, как нить», 8 строка: «Воскреснет в нем и будет снова жить», 10 строка: «Простую жалость, о звезда моя». Перепечатывалось: НЗ. С. 30; Е. С. 29; Лепта. 1991. № 2. С. 155; Ковчег. С. 35; Алтарь. 1994. С. 133. В рецензии на четвертый альманах «Цеха поэтов» Нина Берберова писала: «Отличительная черта Георгия Адамовича — его тщательность. В учебник стихосложения его стихи могли бы войти образцами. Не раз было говорено, что у Ахматовой много подражательниц среди поэтесс; гораздо тоньше, но и сильней, подражает Ахматовой Адамович. Строение стихотворений, темы и особенно интонации, которыми Ахматова так богата, поразительно точно переданы им, но часто звучат искусственно» (СЗ. 1924. № 19. С. 432. Подп.: Ивелич).

**23.** Орион. Париж, 1947. С. 8. С разночтениями в 6—7 строках: «Поймешь ли ты? — блаженство униженья, Блаженство слез, речей, ночей, Бог весть». Перепечатывалось: Е. С. 30; Ковчег. С. 36.

**24.** Жизнь искусства. 1922. 3 января. № 1. С. 12. С разночтением в 10 строке: «Коснуться губ твоих, безмолвно и устало». В таком виде перепечатывалось: ЦП-4. С. 11. В новом варианте печаталось: НЗ. С. 29; Е. С. 31; Ковчег. С. 32; Алтарь. 1994. С. 133. Автограф, датированный 1922 г. — в фонде Ходасевича в РГАЛИ (Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 127).

**25.** Орион. Париж, 1947. С. 8—9. С разночтением в последней строке: «Жизнь или смерть — все равно одному». Перепечатывалось: На Западе. 1953; Чтец-де-

кламатор. Нью-Йорк, 1961. С. 9. Е. С. 32; Подъем. 1988. № 11 С. 122; Ковчег. С. 36—37.

**26.** Орион. Париж, 1947. С. 9. С разночтениями — 1 строка: «В последний раз... О, сердце, нет сомненья...», 6 строка: «Небо синело всею синевой». Перепечатывалось: Лепта. 1991. № 2. С. 156; Ковчег. С. 37.

**27.** НЖ. 1967. № 86. С. 22. Без посвящения. Перепечатывалось: Е. С. 34; Ковчег. С. 41. Стихотворение посвящено давнему другу Адамовича Николаю (Науму) Георгиевичу Рейзини (1905—1979?) — в начале 1930-х годов сотруднику парижского издательства «Hachette», завсегдатаю русского литературного Монпарнаса, вдохновителю журнала «Числа», ставшему после войны предпринимателем, американским миллионером. После высылки из Франции Рейзини занялся нелегальным бизнесом, снискав себе славу международного авантюриста. Имеющиеся о нем сведения весьма противоречивы. Во время гражданской войны в Испании «поставлял на греческих судах оружие Франко, затем занимался торговлей опиумом и другими делами в Данциге, Харбине и других местах»; во время второй мировой войны «сотрудничал с японцами и числился в черных списках США» (Авантюрист Николай Рейзен // Русские новости. 1946. 29 ноября. № 81. С. 2). После разгрома Японии Рейзини снова проявил «сумасшедшую изворотливость»: прибыв в Грецию, он стал вести «переговоры с министром авиации относительно основания греческой авиационной компании», а затем, получив соответствующие полномочия от греческого правительства, «выехал в Соединенные Штаты в роли экономического советника» (Там же). На протяжении сороковых-пятидесятых годов вокруг колоритной фигуры Рейзини периодически вспыхивали громкие скандалы, находившие отзвук в эмигрантской прессе. *См.*, например, ряд заметок в «Новом русском слове» под общим названием «Дело

Николая Рейзини», посвященных выяснению подробностей его биографии: «Рейзини уверяет, что он родился в Салониках, в Греции, в 1905 году. Учился в Париже и в Данциге, жил в Харбине с 1934 до 1946 года, когда он вернулся к себе на родину в Грецию. Греческое правительство Цалдариса командировало Рейзини в С. Штаты в 1946 году в качестве экономического наблюдателя. Рейзини занялся в Нью-Йорке экспортными делами и быстро разбогател. Между прочим, ему принадлежит лицензия на кинематографический новый процесс "Синерама" <...> Иммиграционный департамент утверждает, что Рейзини родился не в Греции, что он русский еврей, родом из Харбина. Настоящее его имя либо Николай, либо Борис Рейзин» (Новое русское слово. 1955. 20 сентября. № 15451. С. 1; 2 октября. № 15436. С. 2, 5). После войны Рейзини нередко помогал своим бывшим приятелям (*см.* об этом у В. Яновского, Ю. Терапиано и др.). 19 октября 1957 года Адамович писал Л. Д. Червинской: «Кстати, о Рейзини: я не уверен совсем, что он так богат. При миллиардерном train'е жизни, он скорей запутан и может завтра оказаться без гроша. В каждом его слове это чувствуется. М. б. и сейчас 10 т<ысяч> для него — "сумма", хотя он и делает вид, что это пустяк. В смысле блеффа он забьет Германова» (BAR. Coll Adamovich. Box 1). Спустя несколько лет Адамович писал Бахраху 27 декабря 1964 года: «Рейзини у меня в больнице действительно был <...> он разорен <...> Это все-таки мой настоящий друг, коих не много на свете» (BAR. Coll. Bacherac. Box 1).

**28.** Звено. 1924. 9 июня. № 71. С. 2. Многократно перепечатывалось: Новый корабль. 1927. № 2. С. 3; Якорь. 1936. С. 63; НЗ. С. 11; На Западе. 1953; Грани. 1959. № 44. С. 25; Муза диаспоры. 1960; Чтец-декламатор. Нью-Йорк, 1961. С. 7; ЖРП. 1961. С. 290; Е.

С. 35; АППЭА. 1973. С. 147; Даугава. 1988. № 1. С. 111; Лепта. 1991. № 2. С. 154; Ковчег. С. 31; Алтарь. 1994. 130. П. М. Бицилли, рецензируя сборник «На Западе», подробнее всего остановился именно на этом стихотворении, трактуя его так: «Это выход не из жизни, а из того, что мы привычно отожествляем с жизнью, из "истории", с ее неизбежными злодеяниями, насилиями ради "Достижений"; это — способность понять, что кроме *этого* плана жизни, в котором "нам этой жизни мало", есть *другой*, но все же *жизненный*, а не "метафизический", тот, в котором пребывает *Мать* — воплощение начала Вечно-женственного, начала ничего не требующей, никакой награды не ждущей Любви. Показательно для этого стихотворения, что в нем нет ни одной "цитаты", ни одной реминисценции; а также, что оно построено, в отличие от других вещей Адамовича, для которых характерно пользование современным синтаксисом поэтического языка ("придаточные" предложения без "главных" и т. п.), в соответствии со строем обычной, повседневной речи. Это не случайно, и опять-таки эстетически осмысленно: это усугубляет впечатление освобождения от усилия, от тревоги, впечатление "выхода", "катарсиса", обретения того, в поисках чего металась душа» (СЗ. 1939. № 69. С. 384). Незадолго до смерти, 14 февраля 1972 года Адамович писал Ю. Иваску: «"Один сказал..." написано в Париже, но давно. Почему этому стишку повезло среди других моих, для меня загадка. Кстати, я люблю у себя "Светало. Сиделка вздохнула..."» (*Иваск Ю.* Собеседник: Памяти Георгия Викторовича Адамовича // НЖ. 1972. № 106. С. 287).

**29.** НЖ. 1967. № 86. С. 21. Перепечатывалось: Е. С. 36; Ковчег. С. 40; 200 поэтов. С. 26.

**30.** СЗ. 1929. № 40. С. 239. Под названием «Рассвет» и с разночтениями — 9 строка: «За непришедшую... И за конец разлуки!», 16 строка: «День начина-

ется в полоске ледяной». Перепечатывалось: Якорь. 1936. С. 64; НЗ. С. 13—14; Е. С. 37; Ковчег. С. 25—26; Алтарь. 1994. С. 130. В своей некрологической статье Игорь Чиннов привел это стихотворение целиком, заметив: «Пусть это, может быть, не просто, не тихо, несколько декламационно — все равно. Зато это пронзительно, незабываемо» (*Чиннов Игорь.* Вспоминая Адамовича // НЖ. 1972. № 109. С. 141). *...за ангела... и те, иные звуки... Летел, полуночью... за небо, вообще...* — из стихотворения Лермонтова «Ангел» («По небу полуночи ангел летел...») (1831).

**31.** СЗ. 1928. № 35. С. 239. Перепечатывалось: Якорь. 1936. С. 66; НЗ. С. 33; ЖРП. 1961. С. 291; Е. С. 38; Лит. Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19; Ковчег. С. 24—25; Алтарь. 1994. С. 133. В архиве Вейдле (ныне — BAR. Coll. Weidle. Box 1) сохранился автограф этого стихотворения с разночтением во второй строке: «Уйдя от лести и обид». В некрологической статье Вейдле привел это стихотворение целиком, сокрушаясь и недоумевая: «Старики стесняются друг друга. А то я бы его спросил о последней строфе, отчего там о кощунстве говорится <...> Где кощунство? В чем самообман? И цветы, заботливая рука — разве главное не это? Спросил бы... С цветами пришел бы и спросил. Да поздно спрашивать» (*Вейдле В.* Памяти Г. В. Адамовича // РМ. 1972. 2 марта. № 2884. С. 4).

**32.** СЗ. 1928. № 37. С. 232. Перепечатывалось: Якорь. 1936. С. 63—64; НЗ. С. 39; Е. С. 39; Лепта. 1991. № 2. С. 155; Алтарь. 1994. С. 134. Первые строки стихотворения — парафраз на тему стихотворения Бодлера «Туманы и дожди»: «Разве только вдвоем, под рыданья метели Усыпить свою боль на случайной постели...» (Пер. В. Левика). Рецензируя выполненный Адрианом Ламбле перевод бодлеровских «Цветов зла» (Па-

риж, 1929), Адамович писал об этом стихотворении: «Есть у Бодлера сонет "Brumes et Pluies". Поэт говорит в нем о своей любви к северной природе, к нескончаемым туманам и дождям. Нет для него ничего слаще этих туманов, — пожалуй, только бывает так же сладко "безлунным вечером, с кем-нибудь вдвоем, на случайной постели, усыпить свою боль". По-французски это неожиданное заключение удивительно: в каждом из медленно падающих слов его есть огромная тяжесть, и тяжестью этой читатель действительно "подавлен". По-русски:

Иль разве ласки те, которыми вдвоем
Мы усыпляем боль на ложе роковом.

Довольно точно. Но у Бодлера отсутствуют "ласки". У него не "ложе", а постель, кровать. Не "роковая", а случайная. В переводе все стало поэтическим "общим местом", под которым охотно подписалась бы Щепкина-Куперник» (*Адамович Г.* Литературные заметки // Последние новости. 1930. 27 февраля. № 3263. С. 3).

Вариант этого стихотворения Адамович прислал З. Н. Гиппиус 20 августа 1928 года в составе подборки из девяти своих стихотворений (оригинал письма вместе с автографами стихов ныне хранится в коллекции Томаса Уитни Амхерстского центра русской культуры в США — Amherst Center for Russian Culture):

Безлунным вечером, в гостинице, вдвоем,
На грубых простынях устало засыпая...
Мечтатель, где твой мир? Скиталец, где твой дом?
Не поздно ли искать искусственного рая?

Осенний крупный дождь стучится у окна,
Обои движутся под неподвижным взглядом...
Кто эта женщина? Зачем молчит она?
Зачем лежит она сейчас со мною рядом?

Осенним вечером, Бог знает где, вдвоем,
В печальном запахе простых духов и дыма,
О том, что мы умрем, о том, что мы живем,
О том, как страшно все и как непоправимо.

З. Гиппиус отозвалась в ответном письме: «Ну а вот "Безлунной ночью..." немножко самоподражание, и "Монмартр" был резче и проще. Тут есть, конечно, маленькая прибавочка, чуть-чуть... но она вне стихов как "стихов"» (Письмо З. Гиппиус Г. Адамовичу от 5 сентября 1928 г. // Intellect and Ideas in Action. Selected Correspondence of Zinaida Hippius. München, 1972. P. 384). В. Набоков, рецензируя 37 номер «Современных записок», язвительно заметил: «о двух стихотворениях Адамовича — лучше умолчать. Этот тонкий, подчас блестящий критик пишет стихи совершенно никчемные. Что бы сказал сам автор, если ему пришлось бы, как критику, оценить такие, например, строки: "кто эта женщина? Зачем молчит она? Зачем лежит она сейчас со мною рядом?.."» (Руль. 1929. 30 января. № 2486. С. 2). Адамович чуть изменил одну строку, но включал это стихотворение в оба своих последующих сборника. Владимир Вейдле в своей рецензии на этот номер «Современных записок» заметил: «Георгий Адамович в лучшем из двух своих стихотворений меланхолически перепевает дивные и страшные стихи Бодлера» (Возрождение. 1929. 10 января. № 1318. С. 3). В статье «Смотрите стихи» Игорь Чиннов сравнивал его со стихотворением Евгения Винокурова «Когда мы просыпались на постели» (НЖ. 1968. № 92. С. 136). Александр Бахрах склонен был поставить строки этого стихотворения эпиграфом не только к поэзии Адамовича, но и ко всему его творчеству: «Ведь, в конечном счете, все, о чем писал Адамович, так сказать, "для души", для себя, не выполняя роли присяжного критика, может быть выраже-

но двумя его собственными строчками. Ведь во всех своих писаниях он — порой с оттенком скептицизма и не без внутренней иронии — комментировал ту же вечную тему:

О том, что мы умрем. О том, что мы живем
О том, как страшно все. И как непоправимо...»

(*Бахрах Александр.* Памяти Адамовича (К 10-летию со дня смерти) // РМ. 1982. 28 февраля).

*...искусственного рая* — возможно, связано с названием книги Ш. Бодлера «Искусственный рай» (1860) о гашише и опиуме (ср. также № 4).

**33.** ЦП-4. С. 7. Перепечатывалось: НЗ. С. 27; Е. С. 40; Ковчег. С. 30; Алтарь. 1994. С. 132.

**34.** ЦП-2. С. 9. С разночтениями — 4 строка: «На шестом этаже, у дрожащего телефона...», 12 строка: «Озаряемая, в лесу, века и века...». Перепечатывалось: Ч. С. 10; ЦП-2-3. Берлин, 1923; НЗ. С. 9—10; Е. С. 41; Алтарь. 1994. С. 130. Рецензируя второй альманах Цеха поэтов, А. Свентицкий отметил: «Хорошо также первое стихотворение Г. Адамовича, хотя он и эклектичен в значительной дозе (тут и Эренбург, и Гумилев, и др.)» (*Свентицкий А.* Болезнь русской поэзии // Вестник литературы. 1921. № 11 (35). С. 8).

**35.** Числа. 1930/1931. № 4. С. 5—6. Перепечатывалось: Грани. 1959. № 44. С. 24; Муза диаспоры. 1960; Е. С. 42; Ковчег. С. 28; Человек. 1992. № 6. С. 186; 200 поэтов. С. 26.

**36.** ЦП-1. С. 3. С разночтением в 9 строке: «И, может, к старости, без сил, ты встретишь срок». Перепечатывалось: Ч. С. 27; ЦП-1. Берлин, 1923. С. 3; ЕШ. С. 150; ИР. 1931. 24 января; НЗ. С. 26; На Западе. 1953; Чтец-декламатор. Нью-Йорк, 1961; Е. С. 43; АППЭА. 1973. С. 145; Даугава. 1988. № 1. С. 111; Волга. 1990. № 12. С. 129; Лепта. 1991. № 2. С. 151; Ковчег. С. 23; Чело-

век. 1992. № 6. С. 187; Алтарь. 1994. С. 132. Тема стихотворения навеяна строками Рильке: «Надо всю жизнь собирать смысл и сладость, и лучше долгую жизнь, и тогда, быть может, разрешишься под конец десятью строками удачными» (*Рильке Р. М.* Записки Мальте Лауридса Бриогге / Пер. Е. Суриц. М., 1988. С. 29). По свидетельству Ю. Иваска, Адамович рассказывал ему, что написал эти стихи в 1919 году в Новоржеве, где работал учителем: «Наступил Девятнадцатый год. Выпал первый снег в Новоржеве, и я долго ходил по полю, что-то бормотал, и получились стихи, которые почему-то цитируются: "Нет, ты не говори: поэзия — мечта..."» (*Иваск Ю.* Недавно: Памяти Георгия Викторовича Адамовича // РМ. 1972. 16 марта. № 2886. С. 8). Михаил Слонимский, рецензируя альманах «Дракон», где впервые было опубликовано это стихотворение, писал: «В стихотворении Г. Адамовича, которым открывается сборник, слишком слышно дыхание Пушкина» (Жизнь искусства. 1921. 9—11 марта. № 688—690. С. 2. Подп.: М. Сл.). Почти дословно повторил эту мысль в своей рецензии на «Дракон» А. Терк: «В овеянных грустью, хрустально чистых и музыкальных строках Г. Адамовича слишком ясно слышатся перепевы из Пушкина» (Начала. Журнал истории литературы и истории общественности. 1922. № 2. С. 294). А. Свентицкий в своем отзыве заявил: «Никто из "драконцев" не создал тех "пяти-шести случайных строк", о которых пишет Адамович, таких строк, чтобы их "в полубреду потом твердил влюбленный..."» (*Свентицкий А.* Стихомания наших дней // Вестник литературы. 1921. № 6—7 (30—31). С. 7—8.

**37.** Ч. С. 54. Перепечатывалось: НЗ. С. 47; Е. С. 44; Лепта. 1991. № 2. С. 152; Ковчег. С. 22-23. Человек. 1992. № 6. С. 186; Алтарь. 1994. С. 136.

**38.** СЗ. 1927. № 32. С. 146. Перепечатывалось: Якорь. 1936. С. 65; НЗ. С. 60. (с посвящением З. Н. Гиппиус);

На Западе. 1953; Е. С. 45. (с посвящением З. Г.); Даугава. 1988. № 1. С. 112; Ковчег. С. 24; Алтарь. 1994. С. 137. В стихотворении использованы рисунок и интонация стихотворения З. Н. Гиппиус «Прогулки», опубликованного годом раньше в журнале «Звено» (1926. 21 февраля. № 160. С. 3):

Вы помните?..
О, если бы опять
По жесткому щетинистому полю
Идти вдвоем, неведомо куда,
Смотреть на рожь, высокую, как вы,
О чем-то говорить, полуслучайном,
Легко и весело, чуть-чуть запретно...
И вдруг — под розовою цепью гор,
Под белой незажегшейся луною,
Увидеть моря синий полукруг,
Небесных воли сияющее пламя...

З. Н. Гиппиус в письмах к Адамовичу не раз обращала внимание на их поэтическое сходство: «А ваши стихи — самые лучшие. Не оттого ли говорю, что они мне так родственны? Нет, это à part, говорю объективно. Если б мне вздумалось кого-нибудь "в гроб сходя, благословлять" — то именно вас» (Письмо З. Н. Гиппиус Адамовичу от 31 марта 1927 // Intellect and Ideas in Action. Selected Correspondence of Zinaida Hippius. München, 1972. P. 345); «Ваши стихи мне близки, некоторые даже завидны» (Письмо от 5 сентября 1928. Там же. С. 383). По мнению Гиппиус, в этом стихотворении Адамовича наиболее ярко, «всего совершеннее дана эта ясность не сказанного, магия недоговоренного», вообще очень характерная для его поэзии (ПН. 1939. 9 марта. № 6555. С. 3). Игорь Чиннов также считал это стихотворение «одним из самых прекрасных» у Адамовича (*Чин-*

*нов Игорь.* Вспоминая Адамовича // НЖ. 1972. № 109. С. 145). Еще позже, в юбилейной статье к столетию Адамовича, именно это стихотворение приводил Андрей Вознесенский, как характерный и лучший образчик его творчества: «Адамович писал уже не словом почти, а дыханием, осязанием <...> Так акварелист порой берет темную, цветную от мытья кистей воду непонятного, смутного уже цвета, который нельзя ни разглядеть, ни повторить, и пишет ею тени — этим странным, уже не цветом, а темным перламутровым тоном. Это на жаргоне живописцев называется "писать грязью", то есть не чистым цветом, а тенью от всех цветов. Так поэт писал уже душою, преодолев плоть стиха» (*Вознесенский Андрей.* А. Г. В // Литературная газета. 1994. 20 апреля. № 16. С. 6).

**39.** Звено. 1923. 17 сентября. № 33. С. 2. Перепечатывалось: ЦП-4. С. 15; НЗ. С. 22; Е. С. 46; Ковчег. С. 32; Алтарь. 1994. С. 132.

**40.** НЗ. С. 58—59. Перепечатывалось: Е. С. 47; Лит. Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19; Ковчег. С. 31; Человек. 1992. № 6. С. 186; Алтарь. 1994. С. 137; 200 поэтов. С. 26—27. *Тень несозданных созданий... фиолетовый рассвет... звонкая тишина... эмалевая стена* — образы из стихотворения-манифеста Брюсова «Творчество» (1895). Ср. отзыв Адамовича о Брюсове из письма С. К. Маковскому от 17 февраля 1953: «Я все читаю Брюсова, которого Вы мне дали, и давно собираюсь написать Вам о нем. Конечно, в общем это ужасно. Но ужасен выбор стихов в этой книжечке, где Брюсов представлен самой нелепой своей стороной "вождя", "законодателя", "мастера" и т. п. Я отыскал в здешней библиотеке другое, старое его издание и, признаюсь, обрадовался и успокоился, убедившись, что прежнее мое впечатление от него не было все же ошибочным. Есть стихи прелестные — и именно те, где он ходули свои бросает. С самого

начала есть что-то свое и острое в соединении Замоскворечья со всякими утонченностями, в "москвиче в верленовом плаще". Есть сразу голос, которого нет и не было у Бальмонта, есть музыка. "Тень несозданных созданий..." Как могли люди только хохотать над этими строками, не слыша звуков? <...> В сущности, Брюсов погиб, как поэт, оттого же, отчего погибла лягушка у Крылова. У него было небольшое настоящее дарование, и он лучше всего там, где вдруг сознает правду. Ему по его литературной attitude не полагается быть грустным и растерянным, но иногда это на него находит, он и становится самим собой <...> Остаюсь все-таки при своем старом мнении, что он больше поэт, чем Гумилев. Даже если вся его поэзия — в развалинах, и как-то вся с треском обрушилась, есть и в этом больше "поэтической темы", драматизма, — не знаю, как сказать правильнее — чем в гумилевских гладких и детских стихах. О Бальмонте я и не говорю...» (РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. Ед. хр. 134).

**41.** Звено. 1924. 15 сентября. № 85. С. 2. Перепечатывалось: НЗ. С. 54; Е. С. 48; Ковчег. С. 30; Алтарь. 1994. С. 137.

**42.** Е. С. 49. Перепечатывалось: Ковчег. С. 40; Человек. 1992. № 6. С. 186. *Sulmo mihi patria est...* — «Город родной мой — Сульмон» (Овидий. Скорбные элегии. Книга IV. Элегия 10. Строка 3. Перевод с лат. С. Ошерова). Сульмон — город в области пелигнов в Апеннинах (в 133 километрах от Рима); он до сих пор имеет в городском гербе первые буквы начальных слов этой строки Овидия. *Tristia* — написанные в ссылке «Скорбные элегии» (8—12 гг. н. э.) Публия Овидия Назона (43 г. до н. э.—18 г. н. э.). *...я родился в Москве. Чуть брезжил день последнего, Второго, В апрельской предрассветной синеве...* Адамович родился в Москве 7 апреля 1892 года, хотя с юности начал везде

указывать годом своего рождения 1894-й (подробнее об этом *см.*: *Коростелев О. А.* Адамович (1892—1972) // Литература русского зарубежья: 1920—1940. Вып. 2. М., 1999. С.159, 184. Николай II взошел на престол в 1894 году. *...помню Коронационные колокола...* Коронация Николая II состоялась в Успенском соборе Московского Кремля 18 мая 1896 года (в день рождения императора). Адамовичу в это время шел пятый год и теоретически он мог помнить описанную во множестве мемуаров торжественную атмосферу праздника, завершившегося Ходынкой.

**43.** Числа 1934. № 10. С. 5. Перепечатывалось: НЗ. С. 53; На Западе. 1953; Е. С. 50; Ковчег. С. 29; Алтарь. 1994. С. 136; 200 поэтов. С. 24.

**44.** Опыты. 1953. № 2. С. 7—8. С разночтением в 10 строке· «Сбиваться, возвышая тон». Перепечатывалось: Е. С. 51; Ковчег. С. 37; 200 поэтов. С. 27

**45.** НЖ. 1967. № 86. С. 22. С разночтением в 3 строке: «Тебе давно игрой постылой стало». Перепечатывалось: Е. С. 52; АППЭА. 1973. С. 148; Лепта. 1991. № 2. С. 152; Ковчег. С. 40; Человек. 1992. № 6. С. 187. Рецензируя номер «Нового журнала», Ю. Терапиано цитировал это стихотворение и писал: «Четыре стихотворения Георгия Адамовича с полным правом стоят во главе стихотворного отдела, столько в них глубины и своеобразного ощущения волнующих и неразрешимых мировых вопросов. Мы видим сейчас какой-то новый, преображенный лик поэта. Над этими стихами действительно сияет "немеркнущий свет"» (РМ. 1967. 27 мая. № 2626. С. 6—7). Ю. Я. Большухин определил эти стихи как «аскетически простые — до бедности, но не переступающие ее порога, богатые, однако, внутреннею углубленной жизнью души» (*Большухин Ю.* Новый журнал-86 // НРС. 1967. 21 мая № 19795. С. 8).

# *ДОПОЛНЕНИЯ*

## «ОБЛАКА» (1916)

Первый сборник стихов Адамовича «Облака» был подготовлен в самом конце 1915 г. и вышел в свет под маркой издательства «Альциона», помеченный 1916 г. Сорокастраничный сборник насчитывал 25 стихотворений и стоил 1 рубль. Стихотворения печатаются по тексту этого издания.

В 1914—1918 гг. несколько книг участников Цеха поэтов вышли в издательстве «Альциона», а не под привычной маркой «Гиперборея». С. Городецкий в статье «Поэзия как искусство» заявил, что «по недостатку организованности, по странному недомыслию авторов книжки эти попали в руки юркого предпринимателя и вышли не под маркой Цеха поэтов или "Гиперборея", но, в конце концов, это не важно, ибо книжки объединены внутренне» (Лукоморье. 1916. № 18. С. 19).

П. Лукницкий записал в дневнике рассказ Ахматовой о том, как владелец «Альционы» (1910—1923) Александр Мелетьевич Кожебаткин (1884—1942) «приехал в Царское Село к ней просить у нее сборник. Это было зимой 15—16 (вернее, осенью 15 г.). В это время выходило третье или четвертое (кажется, третье) издание "Четок". АА сказала ему, что всегда предпочитает издавать сама и, кроме того, у нее нет материала на сборник. ("Белая стая" еще не была готова). Во время разговора Н. С. спустился из своей находившейся во втором этаже комнаты к ней. Кожебаткин предложил взять у него "Колчан" (об издании которого Николай Степанович начал уже хлопотать). Н. С. согласился и предложил ему издать также «Горный ключ» Лозинского, «Облака» Г. Адамовича и книгу Г. Иванова (АА, кажется, назвала — «Гор-

ница». Не помню). Кожебаткин для видимости согласился. А потом рассказывал всюду, что Гумилев подсовывает ему разных, не известных в Москве, авторов...» (*Лукницкий П. Н.* Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. 1924—1925 гг. Париж, 1991. С. 252).

Все эти книги были выпущены «Альционой», и в архиве М. Л. Лозинского сохранилось стихотворное послание С. Городецкого от 24 декабря 1915: «Лишь кожебаткинского знака тебе простить я не могу» (Цит. по: *Тименчик Р.* Заметки об акмеизме // Russian Literature. 1974. № 7—8. Р. 26). На части тиража «Облаков» издательский знак «Альционы» был заклеен маркой издательства «Гиперборей», что внесло некоторую путаницу в большинство библиографий, тем более что Адамович и сам впоследствии обычно упоминал «Облака» как книгу, выпущенную «Гипербореем».

Книга была хорошо встречена в печати. Н. Гумилев в очередном «Письме о русской поэзии» назвал Адамовича «поэтом неустановившимся», но тут же прозорливо добавил: «Однако везде чувствуется хорошая школа и проверенный вкус, а иногда проглядывает своеобразие мышления, которое может вырасти в особый стиль и даже мировоззрение» (Аполлон. 1916. № 1. С. 27). В. Ходасевич отметил «целый ряд влияний»: Ахматовой, Анненского, Блока, Белого, но счел нужным сказать, что «ученик г. Адамович хороший: у него есть вкус, есть желание быть самостоятельным, хотя до оригинальничания он не опускается» (Утро России. 1916. 5 марта. № 65. С. 7). Те же влияния отметили в своих рецензиях К. Липскеров (Русские ведомости. 1916. 10 августа. № 184. С. 5), И. Оксенов (Новый журнал для всех. 1916. № 2—3. С. 74), и В. Еникальский (Журнал журналов. 1916. № 30. С. 9), причем каждый счел необходимым оговориться. В. Еникальский: «Можно составить генеалогию

почти каждого образа», и вместе с тем «у него есть свое лицо». И. Оксенов: «Пока он слишком подчинен Ахматовой и Анненскому», но «у этого поэта есть своя, невыдуманная боль». В. Жирмунский отнес Адамовича к «тесной группе поэтов "Гиперборея", "преодолевшей символизм"», и добавил, что он «может развиться в самостоятельного и своеобразного представителя нового направления», ибо у него есть «подлинный вкус и хорошая школа», а также «подлинное художественное дарование» (Биржевые ведомости. 1916. 14 октября. № 15861. С. 5). Другой рецензент выделил «Облака» из ряда современных сборников за «поэтическую искренность» и признал «книгой истинного поэта, совершенства владения стихом еще не достигнувшего» (Северные записки. 1916. № 2. С. 229—230. Подп.: Р. Д.). Дважды откликнулся на «Облака» С. Городецкий. В статье «Поэзия для себя» он написал про Адамовича, что «стихи делать и он мастер. Только не на чем мастерство свое показать ему» (Лукоморье. 1916. № 6. С. 15). А чуть позже, в статье «Поэзия как искусство», написал, что Адамович «поторопился выпустить свои "Облака"», хотя и «не чужд поэзии как искусства» (Лукоморье. 1916. № 18. С. 20).

Адамовичу важнее всего было узнать мнение Блока о стихах. Блоку стихи не понравились. Он написал на письме Адамовича от 23 января 1916: «очень плохие его стихи» (РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 2. Ед. хр. 20). Впоследствии Адамович в свои книги стихи из «Облаков» никогда не включал, признавшись: «за исключением трех или четырех строчек не нравились они и мне самому» (*Адамович Г.* Комментарии. Вашингтон, 1967. С. 115).

Более полувека спустя после выхода книги, в годовщину со дня смерти Адамовича, А. Туроверов посвятил «Облакам» статью в «Русской мысли»: *Туроверов А.* Далекое и близкое // РМ. 1973. 15 марта. № 2938. С. 8.

**46.** О. С. 3—4. Перепечатывалось: Волга. 1990. № 12 С. 129.

**47.** О. С. 5. В. Жирмунский в своей рецензии приводил это стихотворение как доказательство того, что у Адамовича «подлинное художественное дарование <..>. Не похожий на Ахматову по основному душевному тону, Адамович может развиться в самостоятельного и своеобразного представителя нового направления, если он пойдет по пути душевного и художественного углубления и не впадет в соблазн слишком легко дающейся современному поэту внешней завершенности» (Биржевые ведомости (утренний выпуск). 1916. 14 октября. № 15861. С. 5). *Валаам* — имеется в виду Валаамский (Спасо-Преображенский) мужской монастырь на острове Валаам (Ладожское озеро). По свидетельству Ю. Иваска, Адамович «еще студентом ездил на Валаам. Не то что хотел постричься, а так — присматривался» (*Иваск Ю.* Разговоры с Адамовичем // НЖ. 1979. № 134. С. 97). *На траве медведь лежит...* — с прирученным медведем изображается обычно св. Серафим Саровский или Сергий Радонежский.

**48.** О. С. 6.

**49.** О. С. 7—8. Перепечатывалось: ЕШ. С. 150; Волга. 1990. № 12. С. 128; РПСВ. С. 489. Стихотворение наполнено образами и мотивами поэзии Анненского. Отмечая склонность Адамовича к перепевам Ахматовой и Анненского, Гумилев писал в рецензии на «Облака»: «...для одного стихотворения пришлось даже взять эпиграф из "Баллады" Иннокентия Анненского, настолько они совпадают по образам» (*Гумилев Н.* Письмо о русской поэзии // Аполлон. 1916. № 1. С. 27). Это же отмечал в своей рецензии и В. Жирмунский, также приводя стихотворение почти целиком и добавляя от себя: «Здесь непосредственное повествование о душевном настроении

заключено только в словах: "Так грустно сердце вспоминало...", остальное — тонко и точно переданные восприятия внешнего мира» (Биржевые ведомости (утренний выпуск). 1916. 14 октября. № 15861. С. 5).

**50.** Новый журнал для всех. 1915. № 8. С. 4. С разночтением в 3—4 строках: «Но слезы, — слезы не туманят взор И непорочен образ Эвридики». Перепечатывалось: О. С. 9; Посвящается Ахматовой. Tenafly, 1991. С. 63. Очень характерный для Адамовича «обезнадеженный» вариант излюбленного символистского мифа об Орфее, хотя имя Орфея так и осталось непроизнесенным.

**51.** О. С. 10—11.

**52.** О. С. 12.

**53.** О. С. 13.

**54.** О. С. 14.

**55.** О. С. 15—16. Перепечатывалось: ЕШ. С. 150. В. Еникальский в своей рецензии на «Облака» привел это стихотворение, как доказательство того, что у Адамовича «есть свое лицо. Настоящий пафос и особенная зоркость к обыденной жизни, тоску которой он умеет передавать в своих, почти всегда неуязвимых со стороны формы, стихах, — наиболее характерны для него» (Журнал журналов. 1916. № 30. С. 9). *Аяксы* — в «Илиаде» два греческих героя, сражавшиеся под Троей.

**56.** О. С. 17.

**57.** О. С. 18—19. Перепечатывалось: ЕШ. С. 150. По мнению Вадима Крейда, это стихотворение Адамовича явилось поэтическим откликом на стихотворение Георгия Иванова «Я не любим никем. Пустая осень...», свидетельством чему он считает параллелизм строк Иванова «Я ненавижу полумглу сырую Осенних чувств и бред гоню, как сон» и строк Адамовича «Я ненавижу тьму глухую Томительных июльских дней». Крейд считает частыми и значимыми для творчества членов Цеха поэтов «параллелизм между стихами акмеистов, совпадения, скрытые и яв-

ные цитаты, намеки на известное стихотворение, иногда пародия или диалог с другим поэтом-акмеистом» (*Крейд В.* Петербургский период Георгия Иванова Tenafly: Эрмитаж, 1989. С. 41—42). *Всадник со скалы поскачет* — аллюзия на пушкинский «Медный всадник».

**58.** О. С. 20.

**59.** О. С. 21—22.

**60.** О. С. 23. Перепечатывалось: Весенний салон поэтов. М., 1918; РПСВ. С. 490. Иннокентий Оксенов, в целом считавший «творчество Г. Адамовича вполне приемлемым», по поводу этого стихотворения патетически воскликнул в своей рецензии на «Облака»: «Но есть у него стихотворение, за которое да будет поэту стыдно» (Новый журнал для всех. 1916. № 2—3. С. 74).

**61.** Зеленый цветок. Пг., 1915. С. 11. Без названия.

**62.** О. С. 28.

**63.** Новый журнал для всех. 1915. № 6. С. 3. С разночтениями — 4—6 строки: «Дожди, спокойствие и заря. Брожу, не знаю, не верю, шатаюсь, А мысли, — а мысли всегда одни». Перепечатывалось: РПСВ. С. 490.

**64.** О. С. 30—31.

**65.** О. С. 32—33.

**66.** О. С. 34. Перепечатывалось: ЕШ. С. 151. *Последний нонешний денечек...*— первая строка популярной в начале века песни. Пелась от лица мобилизованного в солдаты.

**67.** О. С. 36.

**68.** О. С. 37. Перепечатывалось: Весенний салон поэтов. М., 1918.

**69.** О. С. 38. Перепечатывалось: РПСВ. С. 490—491. *к «берегам отчизны дальней»* — парафраз заглавной строки стихотворения Пушкина «Для берегов отчизны дальной...» (1830).

**70.** О. С. 39.

## Из сборника
## «ЧИСТИЛИЩЕ»
## (1922)

Сборник «Чистилище. Стихи. Книга вторая» был выпущен издательством «Петрополис» в начале 1922 г. тиражом 2000 экземпляров и посвящен «Памяти Андрея Шенье» (намек на расстрелянного Гумилева и одновременно знак принадлежности к «неоклассицизму», к которому Адамович себя в то время относил).

Стихотворения печатаются по тексту этого издания. На 96 страницах книги были опубликованы 47 стихотворений и поэма «Вологодский ангел». Полный состав сборника (в нумерации настоящего издания): №№ 71, 34, 6, 72—80, 36, 81—99, 37, 100—116. Адамович готовил сборник с 1918 года, причем название постоянно менялось. Первоначально он хотел назвать книгу «Венера» (*см.* афишу первого собрания общества «Арзамас» 13 мая 1918 в кн.: *Гумилев Н.* Стихотворения и поэмы. Л., 1988. (Б-ка поэта. Большая серия). С. 128—129), потом «Возвращение Орфея» (*см.* анонс на обложке ЦП-3). Сохранилось недатированное письмо Адамовича владельцу «Петрополиса» Якову Ноевичу Блоху (1892—1968) об издании книги (РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 509).

В новой, преимущественно революционной, прессе книга Адамовича была встречена холодно. Марк Аверин в статье «Поэтический лимонад» заявил, что хоть в некоторых стихах и «чувствуется верная, тонкая, но цепкая хватка поэта», в целом это «только барахтанье в луже эстетства» (Новая жизнь. [Псков], 1922. № 9. С. 95). Илья Груздев счел, что «образы и темы Георгия Адамовича насквозь литературны» (Книга и революция. 1922. № 7 (19). С. 59—60).

Валерий Брюсов, в статье «Среди стихов» укоряя Гумилева, Ахматову и Сологуба за то, что они «находятся в очарованном сне и повторяют прошлое», включил в этот «синодик поэтов-окаменелостей» и Адамовича «с его "второй книгой", где сонет посвящен, например, Воробьевым горам». Последнее обстоятельство особенно не понравилось мэтру, заставив его язвительно пробурчать: «Это, кажется, называется, акмеизм» (*Брюсов В.* Среди стихов // Печать и революция. 1922. Кн. 2. С. 145).

Более внимательно отнесся к сборнику К. Мочульский. В статье «Классицизм в современной русской поэзии» он сравнивал Адамовича с Г. Ивановым и отмечал такой же «отчетливый и простой язык <...>. Но его дарование более гибко и динамично, чистый парнассизм Г. Иванова ему чужд. Фактура его нервна, угловата, порывиста, он эмоционален и даже патетичен» (Современные записки. 1922. № 11. С. 379).

Делая обзор современной поэзии, М. Кузмин в статье «Парнасские заросли» заметил, что «из десятков книг лирическое содержание можно найти в книге Г. Адамовича "Чистилище"» (Завтра. Литературно-критический сборник. I. Берлин, 1923. С. 119). Еще одна рецензия, написанная Л. В. Горнунгом, появилась в первом номере машинописного журнала «Гермес» (М., июль 1922), выпущенном в свет в количестве 12 экз. (Сообщено Л. В. Горнунгом).

В эмиграции, по свидетельству Юрия Трубецкого, стихи «Чистилища» были хорошо известны в литературной среде: «"Сады" Георгия Иванова, "Чистилище" Адамовича, о них говорилось и тогда, и теперь, в зарубежье, много. Это ценности несомненные» (*Трубецкой Ю.* Литературный НЭП // НРС. 1955. 30 января. № 15618. С. 8).

**71.** Ч. С. 9. Перепечатывалось: ЕШ. С. 151; РПСВ. С. 491. *Нет, я не Байрон...* — начало заглавной строки стихотворения Лермонтова «Нет, я не Байрон, я другой...» (1822).

**72.** Ч. С. 13. Под названием «Воробьевы горы». Перепечатывалось: ИНП. С. 7; ЕШ. С. 151; РПСВ. С. 491—492. В книге «На Западе» стихотворение публиковалось без названия. В этом виде пепрепечатано: Алтарь. 1994. С. 135. *«Не шей мне матерь красный сарафан»* — измененная строка романса Александра Егоровича Варламова (1801—1848) «Не шей мне матушка красный сарафан» (1833) на слова Николая Григорьевича Цыганова (1797—1831). Искажение известной песенной строчки, втиснутой в несвойственный ей ритм, вызвало недоумение Брюсова: «Почему "матерь" вместо "матушка"?» (*Брюсов В.* Среди стихов // Печать и революция. 1922. Кн. 2. С. 145.).

**73.** ЦП-2. С. 10—11. Перепечатано: Ч. С. 14—15.

**74.** Ч. С. 16—17. Перепечатывалось: ИНП. С. 8. *Лузитания* — английский пассажирский пароход, потопленный 7 мая 1915 г. германской подводной лодкой недалеко от берегов Ирландии. Погибло 1154 человека. *Марна* — на реке Марне, между Парижем и Верденом, англо-французские войска под командованием генерала Ж. Жоффра 5—12 сентября 1914 г. остановили наступавшие германские армии, а затем вынудили их отойти, сорвав германский стратегический план быстрого разгрома Франции.

**75.** Ч. С. 18. В сборнике «На Западе» (С. 57) — с разночтением в первой строке: «О, жизнь моя, довольно суеты...». В этом же варианте перепечатано: Алтарь. 1994. С. 137.

**76.** Ч. С. 19. Перепечатывалось: РПСВ. С. 493.

**77.** Ч. С. 20—22.

**78.** ЦП-3. С. 5. С посвящением Андрею Цур-Милену и разночтением в 5 строке: «Нам голос прозвучит с кормы...». Перепечатывалось: Ч. С. 23; ЦП-2-3. Берлин, 1923.

**79.** Тринадцать поэтов. Пг., 1917. С. 4. Без названия и с разночтением в 16 строке: «Дружок, останься со мною». Перепечатано: Ч. С. 24—25.

**80.** Ч. С. 26. Перепечатывалось: НЗ. С. 43; Литературная Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19; РПСВ. С. 492; Алтарь. 1994. С. 135. *О, лошадей ретивых не гони, Ямщик... куда ж спешить?.. кого любить?* — парафраз романса Я. Фельдмана на слова Н. А. фон Ритттера «Ямщик, не гони лошадей».

**81.** Ч. С. 28—29.

**82.** Ч. С. 30—32. Перепечатывалось: ЭРП. 1922. С. 183; АППЭА. 1973. С. 146.

**83.** Ч. С. 33.

**84.** Ч. С. 34—35. *Гудруна* — персонаж древнеисландских героических песен («Старшая Эдда»).

**85.** Тринадцать поэтов. Пг. 1917. С. 3. С посвящением В. X. Футлину, под названием «Отступление из Польши» и с разночтениями — 1 строка: «Там страшный вождь, коварный и жестокий...», 18 строка: «А ты вскочил на легкого коня», 26 строка: «По рее, по траве, по зеленым морским берегам». В. Футлин (наст. имя Владимир Христофорович (Эдуардович) Кундзинг; 1898—?) — танцовщик кордебалета в театре Теляковского (в 1914—1916 гг.), затем — артист балетной труппы Литейного театра. (сообщено Р. Д. Тименчиком). Цветаева в письме В. Ф. Булгакову от 12 августа 1925 года, говоря об Адамовиче, припомнила, что он «издал в начале революции в Петербурге "Сборник тринадцати", там были его контрреволюционные стихи» (*Цветаева М.* Собрание сочинений в семи томах. Т. 7. Письма. М., 1995. С. 9). В

сборнике «Тринадцать поэтов» были опубликованы и стихи самой Цветаевой: «Над церковкой — голубые облака...» и «Чуть светает...». *О, Русь, Русь, — далеко она за горой...* — из «Слова о полку Игореве». *Маккензен* Август (1849—1845) — германский генерал-фельдмаршал (1915), в первую мировую войну командир корпуса, затем командующий армией, а с 1915 г. — группой армий.

**86.** Северные записки. 1916. № 4—5. С. 49. С разночтениями — 1 строка: «Темнеет, вот и уголь почернел», 5 строка: «Кипит неукротимый водопад», 13—16 строки: «Но в этом доме будет тишина Такая, как над фьордами бывает, Когда смолкает ветер, и луна Полярные долины озаряет». Перепечатывалось: Ч. С. 38—39. *Росмерсгольм* — название пьесы (1894) норвежского драматурга Генрика Ибсена (1828—1906), которую особенно часто цитировал Адамович. См., в частности, его статью к двадцатилетию со дня смерти Ибсена: *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1926. 16 мая. № 172. С. 2—3.

**87.** Ч. С. 39. Перепечатывалось: Числа. 1930—1931. № 4; НЗ. С. 45. Грани. 1959. № 44. С. 24; Муза диаспоры. 1960; Ковчег. С. 22. Алтарь. 1994. С. 135.

**88.** Ч. С. 40.

**89.** Ч. С. 41. В фонде Г. Шенгели (РГАЛИ. Ф. 2861. Оп. 1. Ед. хр. 225) сохранился автограф этого стихотворения с разночтением в восьмой строке: «В шелку *багряном* — Гончарова».

**90.** Ч. С. 42.

**91.** Ч. С. 43. *Григ* Эдвард (1843—1907) — норвежский композитор, пианист, дирижер, музыкальный деятель. Адамович с юности ценил его творчество и в статьях не раз восхищался, «как Григ <...> уловил и почувствовал песню Сольвейг» (*Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1928. № 4. С. 188).

**92.** Ч С. 44—45. *Сияла ночь...* Здесь напрашивается параллель со стихотворением Фета «Сияла ночь. Луной был полон сад; лежали...» (1847), хотя вслед за Гумилевым и З Гиппиус Адамович к поэзии Фета относился неприязненно, считая его «типичным образцом второразрядного поэта» (*Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1925. 5 января. № 101. С. 2; *см.* также: *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1925. 27 апреля. № 117. С. 2). Об отношении Гумилева к Фету *см.*: *Тименчик Р. Д.* Заметки об акмеизме // Russian Literature. 1981. Vol. IX. P. 177. «Довольно бездарным человеком» считала Фета и З. Н. Гиппиус (*Антон Крайний.* Современность // Числа. 1933. № 9. С. 143). Именно это стихотворение Адамович приводил в качестве доказательства дурного вкуса Цветаевой: «Меня все чаще корят Цветаевой. "Замечательный поэт, а вы упираетесь или просто не понимаете!" Недавно я — как бы в свое оправдание, в свое "понимание" — узнал, что самым любимым ее русским стихотворением было фетовское "Рояль был весь раскрыт"... Человек весь в том, что он любит, и не все ли мне равно, при таком выборе, что Цветаева была действительно очень даровита!» (*Адамович Г.* Темы // Воздушные пути. 1960. № 1. С.47). После нескольких отзывов Адамовича о поэзии Фета Глеб Струве заметил в частном письме· «я подозреваю, что он Фета давным-давно (или вообще) не читал. Прочтет и "откроет"» (Письмо Г. П. Струве В. Ф. Маркову от 11 июня 1961 г. // Собрание Ж. Шерона, Лос-Анджелес). *«Я вас любил. Любовь еще, быть может...»* — отсылка к стихотворению Пушкина «Я вас любил: любовь еще, быть может...» (1829).

**93—95.** Ч. С. 46—48. Посвящено В. Футлину (см. прим. 85).

**96.** Ч. С. 49.

**97.** Ч. С. 50.

**98.** Северные записки. 1916. № 4—5. С. 46. Под названием «12 марта 1801 г.» и с разночтением в 22 строке: «Как страшно лететь, как темно!».

**99.** Ч. С. 53. Перепечатывалось: ЕШ. С. 151; НЗ. С. 35. (с разночтениями); Алтарь. 1994. С. 134.

**100.** Ч. С. 55.

**101.** Ч. С. 56—57. «*Еще, еще минуточку. Повремени, палач!*» Адамович имеет в виду последние слова перед казнью графини Мари-Жанны *Дюбарри*, гильотинированной в 1793 г.: «Encore un moment, monsieur le bourreau!» («Еще минуточку, господин палач!»). *Чиновник пьяный молится За упокой души.* Персонаж романа «Идиот» Достоевского Лебедев молился по ночам «за упокой души великой грешницы графини Дюбарри и всех ей подобных». Адамовичу глубоко врезался в память этот образ и он несколько раз упоминал его в статьях и письмах: «Вспомните у Достоевского нищего пьяницу, который каждую ночь молился за упокой "душеньки" рабы Божьей графини Дюбарри, прочитав где-то, как она кричала на эшафоте: "Encore un moment, monsieur le bourreau!" — после всей своей славы, богатства и великолепия» (*Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1925. 26 января. № 104. С. 2).

**102.** Северные записки. 1916. № 4—5. С. 48. Под названием «Забытая», с эпиграфом из С. Городецкого: «Где, милый, лобызаный, Где ты, мой ласковый такой?» и разночтением в 7 строке: «Поселяют в широкой Сибири».

**103.** Ч. С. 60.

**104.** Северные записки. 1916. № 4—5. С. 47. С разночтениями — 2 строка: «И под глазами к утру все яснее зелень», 7—8 строки: «А разлучиться, значит, было суждено И неизбежно было, поздно или рано». Перепечатывалось в антологии: ЕШ. С. 151.

**105.** Ч. С. 62.

**106.** Ч. С. 63.

**107.** Ч. С. 64.

**108.** Аполлон. 1916. № 3. С. 46. Перепечатывалось: Ч. С. 65. Стихотворение представляет собой парафраз на темы «Слова о полку Игореве».

**109.** Ч. С. 66.

**110.** Ч. С. 67.

**111.** Ч. С. 68. Перепечатывалось: ЭРП. 1922. С. 184.

**112.** Ч. С. 69.

**113.** Ч. С. 70—71.

**114.** Ч. С. 72. Перепечатывалось: РПСВ. С. 492. *И я хочу покоя... Зеленый дуб склонялся и шумел* — парафраз строк стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» (1841).

**115.** Ч. С. 73.

**116.** Северные записки. 1917. № 1. С. 87—94. Со множеством незначительных разночтений. Отзывы критики на единственную поэму Адамовича были заслуженно отрицательными. Марк Аверин в рецензии на «Чистилище» охарактеризовал ее как «раннюю, нудную, тягучую как клейстер, усыпительную вещь» (Новая жизнь [Псков]. 1922. № 9/10. С. 95). Один только К. Мочульский усмотрел в ней «стремление к широкому масштабу и простору эпоса» (*Мочульский К.* Классицизм в современной русской поэзии // СЗ. 1922. № 11. С. 374). Анализируя метрику поэмы, М. Л. Гаспаров сравнивал ее с метрикой стихотворения М. Волошина «Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель...» (1907) и пришел к выводу, что «скудный опыт русского галлиямба был предварительной школой русского тактовика <...> оговоримся сразу: никаких свидетельств о том, что Адамович сознательно опирался на традицию античного галлиямба, нет. Но что он держал в сознании или подсознании

образец Волошина, можно не сомневаться» (*Гаспаров М. Л* Русские стихи 1890-х—1925-го годов в комментариях. М.: Высшая школа, 1993. С. 132—134). «*Очи черные*» — романс Г. Софусь на слова Е. П. Гребенки (1812—1848).

## Из сборника «НА ЗАПАДЕ» (1939)

Подготовку сборника Адамович начал еще в середине 1920-х годов и намеревался выпустить его осенью 1927 года, о чем летом 1927 года писал З. Н. Гиппиус. *См.* ее ответ 4 августа 1927 г.: «я жалею, что вы раньше не выпустили ваших стихов. Они своеструнны, и как-то хочется их "в особину"» (Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippius. München,1972. P. 359). В то время, однако, издание не осуществилось. В шутливом предсказании на 1930 год В. Л. Корвин-Пиотровский назвал будущую книгу «Парижское чистилище» (Предсказание m-me Тэб на 1930-ый год // Руль. 1930. 19 января. № 2781. С. 8. Без подп.).

Сборник «На Западе» был выпущен парижским издательством «Дом книги» в феврале 1939 года тиражом 200 экземпляров в серии «Русские поэты» (5-я книга серии) и включал 47 стихотворений, 9 из которых были взяты из «Чистилища». 14 стихотворений, не входивших в другие прижизненные сборники, печатаются по тексту этого издания. Полный состав сборника «На Западе» (в нумерации настоящего издания): 3, 5, 7—8, 34, 28, 2, 30, 17, 117—120, 39, 121, 6, 36, 33, 122, 24, 22, 123—124, 31, 125, 99, 11, 12, 32, 9, 126, 80, 127, 37, 72, 37, 20, 16, 128—129, 43, 41, 130, 15, 75, 40, 38.

Основные периодические издания эмиграции отозвались на выход сборника рецензиями, оценивая его довольно высоко. Зинаида Гиппиус в качестве своеобразной черты стихов отметила их «недосказанность» и назвала Адамовича единственным поэтом из всего «западного "полупоколения"» близким Блоку «необыкновенной правдивостью, связанным с ней чувством ответственности». «Простота в этих стихах прямо, просто (и сознательно) проста» (*Антон Крайний.* Почти без слов // Последние новости. 1939. 9 марта. № 6555. С. 3). «Простоту и удивительную цельность» подчеркнул также Вадим Андреев, заметив, что Адамович «пишет только в тех случаях, когда решительно чувствует, что не писать не может» (Русские записки. 1939. № 16. С. 199—200. Подп.: С. Осокин).

П. Бицилли, напротив, нашел в стихах «"философский диалог" — беседу души со сродственными душами», когда «в одном стихотворении осуществляется со-гласие двух или нескольких "голосов"» (Современные записки. 1939. № 69. С. 383—384).

Николай Вадвич назвал сборник «книгой исключительной по своей напряженности и лаконической выразительности» и заметил, что «некоторые стихотворения напоминают химические формулы — названы и дозированы элементы, реакция должна произойти уже в сознании читателя» (Русский временник. Париж, 1939. № 3. С. 123—127).

Позже, в письме Игорю Чиннову от 16 декабря 1965 г., Адамович заметил, что в сборнике «очень много дряни» (НЖ. 1989. № 175. С. 261) и в свой итоговый сборник «Единство» включил лишь 28 стихотворений из 47, составивших книгу «На Западе».

**117.** СЗ. 1928. № 35. С. 239. Перепечатывалось: НЗ. С. 17; Литературная Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19; Ковчег. С. 25; Алтарь. 1994. С. 131.

**118.** Звено. 1924. 9 июня. № 71. С. 2. Перепечатывалось: НЗ. С. 18; Ковчег. С. 34; Алтарь. 1994. С. 131.

**119.** Благонамеренный. 1926. № 1. С. 13—14. Перепечатывалось: НЗ. С. 19; Литературная Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19; Ковчег. С. 30; Алтарь. 1994. С. 131.

**120.** Благонамеренный. 1926. № 1. С. 14. Перепечатывалось: НЗ. С. 20—21; Ковчег. С. 33—34; Алтарь. 1994. С. 131.

**121.** Звено. 1923. 17 сентября. № 33. С. 2. Перепечатывалось: ЦП-4. С. 14; НЗ. С. 23; Алтарь. 1994. С. 132.

**122.** Петербургский сборник. Поэты и беллетристы. Пг., 1922. С. 7. Под названием «Посвящение» и с разночтением в 1 строке: «Уносит в реку белый снег, — увы!..». Перепечатывалось: ЦП-4. С. 9; НЗ. С. 28; Ковчег. С. 34; Алтарь. 1994. С. 133.

**123.** ЦП-4. С. 8. Перепечатывалось: НЗ. С. 31; Литературная Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19; Ковчег. С. 29—30; Алтарь. 1994. С. 133.

**124.** Петербургский сборник. Поэты и беллетристы. Пг., 1922. С. 8. Перепечатывалось: НЗ. С. 32; Ковчег. С. 33; Алтарь. 1994. С. 133. Последнюю строфу этого стихотворения Георгий Иванов взял эпиграфом к своему стихотворению «Как вы когда-то разборчивы были...», составляя свой последний сборник «Стихи 1943—1958 гг.» (Нью-Йорк, 1958). Обстоятельства этого *см.* в письме Адамовича Одоевцевой от 16 ноября 1957 года (Минувшее: Исторический альманах. Вып. 21. СПб.: Atheneum-Феникс, 1997. С. 458).

**125.** Перезвоны. [Рига], 1926. № 19. С. 589. С разночтением в 7 строке: «И где-то, за гранью почти уж раскрытых ворот». Перепечатывалось: Новый корабль. 1927. № 2. С. 3; НЗ. С. 34; Ковчег. С. 24; Алтарь. 1994. С. 134; 200 поэтов. С. 24.

**126.** Числа. 1930 № 1. С 12—13. Перепечатывалось: НЗ. С. 41—42; ЖРП. С. 290; Ковчег. С. 27—28; Человек. 1992. № 6. С. 187; Алтарь. 1994. С. 135. 20 сентября 1928 года Адамович прислал З. Н. Гиппиус автограф этого стихотворения с разночтениями — 2 строка: «Могут быть на земле продлены», 5 строка: «Я оставить хочу завещанье». К строке «Брат мой, друг мой, не бойся страданья» он сделал смущенную пометку: «Il est temps de lancer Надсона» («Пора пускать в ход Надсона» — фр.). Ср. хрестоматийную первую строку известного стихотворения С. Я. Надсона «Друг мой, брат, мой, усталый страдающий брат» (1880).

**127.** Новый дом. 1926. № 1. С. 4. С дополнительной первой строфой:

Дон-Жуан, патрон и покровитель
Всех, кто не находит забытья,
Первомученик, первоучитель
Дон-Жуан, — тебя ль не вспомню я?

Перепечатывалось: НЗ. С 44; Алтарь. 1994. С. 135. На соседней странице журнала «Новый дом» было опубликовано стихотворение З. Н. Гиппиус «Ответ Дон-Жуана (Дон-Жуан, конечно, вас не судит...)». В своем отзыве на первый номер «Нового дома» М. Цетлин отметил: «Интересна стихотворная полемика на тему о любви между Г. Адамовичем и Гиппиус» (ПН. 1926. 11 ноября. № 2059. С. 3).

**128.** Звено. 1924. 15 сентября. № 85. С. 2. С подзаголовком «Отрывок». Перепечатывалось: НЗ. С. 51; Алтарь. 1994. С. 136.

**129.** Числа. 1930. № 1. С. 11. Перепечатывалось: НЗ. С. 52; Даугава. 1988. № 1. С. 112; Ковчег. С. 27; Алтарь. 1994. С. 136. *Пален* Петр Алексеевич (1745—1826) — граф, генерал от кавалерии, петербургский воен-

ный губернатор. Один из организаторов дворцового переворота 1801 года.

**130.** Числа. 1930. № 1. С. 11. Перепечатывалось: НЗ. С. 55; ЖРП. С. 291; Ковчег. С. 27; Алтарь. 1994. С. 137; 200 поэтов. С. 24—25.

## СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧАВШИЕСЯ В СБОРНИКИ

**131.** Литературное обозрение. 1989. № 5. С. 39 (стихотворение из альбома Ахматовой, хранящегося в РГАЛИ, публикация Н. А. Богомолова). Перепечатывалось в сборнике: Посвящается Ахматовой. Tenafly, 1991. С. 62.

**132.** Голос жизни. 1915. 18 марта. № 12. С. 12.

**133.** Голос жизни. 1915. 18 марта. № 12. С. 12. *И опять на покинутых стенах Ярославна тоскует одна...* — отсылка к «Слову о полку Игореве».

**134.** Огонек. 1915. 26 апреля. № 17. С. 12.

**135.** Собр. соч. Стихи. С. 235. Автограф в РГАЛИ. Ф. 341. Оп. 1. Ед. хр. 298.

**136.** Вечер «Триремы». Пг., 1916. С. 3. *Баязет* (1347—1403) — турецкий султан с 1389 г.; покорил Болгарию, часть Сербии, Македонии, разбил 28 сентября 1396 г. венгерского короля Сигизмунда при Никополе, побежден и взят в плен Тимуром в битве при Ангоре 20 июля 1402 г.

**137.** Свирель: Третий альманах молодой поэзии. Пг.: Факел, 1917. С. 5.

**138.** ЦП-4. С. 13.

**139.** Звено. 1923. 29 октября. № 39. С. 2.

**140.** Звено. 1924. 3 марта. № 57. С. 2.

**141.** Перезвоны. 1926. № 19. С. 589.

**142.** ЦП-4. С. 12.

**143.** СЗ. 1927. № 32. С. 145.

**144.** Собр. соч. Стихи. С. 245. Прислано Адамовичем Гиппиус 2 сентября 1928. Письмо находится в коллекции Томаса Уитни (ныне — в архиве Amherst Center for Russian Culture).

**145.** Новый корабль. 1928. № 4. С. 3.

**146.** Собр. соч. Стихи. С. 247—249. Шуточное стихотворение к десятилетнему юбилею газеты «Последние новости». Автограф с пометами Адамовича сохранился в архиве А. А. Полякова (BAR. Coll. Poliakov. Box 1). Вместо первых строф приписка рукой Адамовича: «Здесь должно быть было описание редакционной комнаты, — но я не помню его и не могу восстановить». На полях строк *«...негодует Эразмус. С "коровой", с капустой лежат пирожки...»* — приписка Адамовича: «С коровой: он не говорил "с мясом"». *Кутырина* Юлия Александровна (1891—1979) — сказительница, мемуарист, племянница жены И. С. Шмелева, биограф Шмелева, хранительница его архива. *Седых* Андрей (наст. имя Яков Моисеевич Цвибак; 1902—1994), журналист, литератор, с 1919 в эмиграции, с ноября 1920 в Париже, парламентский корреспондент газет «Последние новости» и «Сегодня» (с 1926), секретарь И. А. Бунина в Стокгольме (1933), с 1942 в США, сотрудник, затем главный редактор (с 1973) газеты «Новое русское слово». *Ляля* — Елена Николаевна Штром (?—1962), машинистка «Последних новостей». *Калишевич* Николай Викторович (наст. фам. Калишевский; 1881—1941) — журналист, литературный критик, мемуарист, после революции в эмиграции в Софии, с начала 1920 гг. в Париже, с лета 1923 г. ночной редактор «Последних новостей», публиковал статьи и рецензии под псевдонимом Р. Словцов. *Ратнер* — журналист, сотрудник «Последних новостей», после войны «Русских новостей». *Демидов* Игорь Платонович (1873—1946) — общественно-политический деятель, журналист, депутат 4-й

Государственной думы, в эмиграции сотрудник (с 1921), потом заместитель (с 1924) редактора «Последних новостей». *Абрамыч* — Александр Абрамович Поляков (1879—1970), журналист, бессменный выпускающий редактор «Последних новостей». *...мо-круазе.* От французского les mots croisés (перекрещивающиеся слова), одно из эмигрантских названий кроссворда (кроме него бытовали названия метерансцен и крестословицы). Попытку проследить распространение термина и самого феномена в эмиграции *см.* в заметке Р. Янгирова «Из наблюдений об опытах "ретроградного анализа" и "загадках перекрестных слов" Владимира Набокова» (Новое литературное обозрение. 1997. № 23. С. 439). *Августа Филипповна* — писательница, переводчица, журналистка Августа Филипповна Даманская (1875—1959), оказавшись в эмиграции в 1920 году, постоянно сотрудничала в «Последних новостях» вплоть до Второй мировой войны, публикуя рассказы, путевые очерки, рецензии и заметки. *Преемник Кропоткина...* Адамович называет Михаила Андреевича Осоргина (наст. фам. Ильин; 1878—1942) «преемником Кропоткина», поскольку тот именовал себя «беспартийным анархистом», будучи во всем вполне европейским джентльменом. *Алданов* Марк Александрович (наст. фам.: Ландау; 1886—1957) — писатель, с апреля 1919 г. в эмиграции в Париже, соредактор журнала «Грядущая Россия» (1920), в 1922—1924 гг. жил в Берлине, редактировал воскресное литературное приложение к газете «Дни» (1923—1924), весной 1924 г. вернулся во Францию, вел литературный отдел газет «Дни» (1925—1926), сотрудничал в «Последних новостях» с основания газеты, с декабря 1940 г. в США, один из основателей и соредактор «Нового журнала» (1942), с 1947 г. жил в Ницце. «Нобелевским конкурентом» Адамович назвал его, поскольку Алданов пользовался большой популярностью

в США и долгое время рассматривался в эмиграции как потенциальный кандидат на Нобелевскую премию. *Владимир Андреич* — Владимир Андреевич Могилевский (1880—?), в 1917—1918 гг. керченский, затем севастопольский городской голова, с начала 1920-х гг. в эмиграции в Париже, главный бухгалтер, кассир, заведующий конторой «Последних новостей». *Ступницкий* Арсений Федорович (1893—1951) — журналист, юрист, участник Белого движения, в эмиграции жил в Париже, один из ближайших сотрудников редакции газеты «Последние новости», правая рука П. Н. Милюкова, после второй мировой войны близок к движению сов. патриотов, редактор газеты «Русские новости» (1945—1951). *Сарач* Борис Маркович — бухгалтер «Последних новостей». *Шальнев* — харьковский журналист, в эмиграции сотрудник «Последних новостей». *Ладинский* Антонин Петрович (1896—1961) — поэт, прозаик, журналист, участник Первой мировой войны и Белого движения, с 1920 г. в эмиграции в Египте, с 1924 г. в Париже, один из организаторов Союза молодых поэтов и писателей (1925), сотрудник редакции «Последних новостей» (сидел на телефоне, отвечая на звонки), с 1944 г. член Союза русских патриотов, сотрудник редакции газеты «Советский патриот», в сентябре 1950 г. выслан из Франции, жил в Дрездене, в марте 1955 г. вернулся в СССР. *Кобецкий* Яков Яковлевич (1883—1945) — банковский служащий, журналист, после революции в эмиграции в Париже, биржевой хроникер «Последних новостей» с основания газеты. *Волков* Николай Константинович (1875—1950) — агроном, общественно-политический деятель, депутат III и IV Государственной думы, товарищ министра земледелия Временного правительства, участник Белого движения, с 1920 г. в эмиграции в Париже, с 1923 г. директор-распорядитель (руководитель хозяйственной частью) «Последних ново-

стей». *Кулишер* Александр Михайлович (1890—1942) — историк, правовед, журналист, преподаватель Высших Бестужевских курсов в Петрограде, с 1921 г. в эмиграции в Берлине, сотрудник Русского научного института, во второй половине 1920 гг. перебрался в Париж, сотрудник «Последних новостей» с 1923 г., в годы Второй мировой войны арестован нацистами, погиб в концлагере. Еще одно шуточное стихотворение о «Последних новостях» с упоминанием большинства тех же персонажей написал Дон-Аминадо и зачитал на юбилейном вечере 1 марта 1931 года по случаю 10-летия прихода П. Н. Милюкова в газету: *Дон-Аминадо.* Поезд на третьем пути. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1954. С. 328—334. Подробнее о газете и ее сотрудниках *см.*: Юбилейный сборник газеты «Последние новости»: 1920—1930. Париж, 1930; *Бирман Михаил.* В одной редакции (О тех, кто создавал газету «Последние новости») // Евреи в культуре русского зарубежья. Иерусалим, 1994. Т. III. С. 147—169; *Петрова Т. Г.* «Последние новости» // Литературная энциклопедия русского зарубежья 1918—1940: Периодика, литературные центры. М.: РОССПЭН, 2000. С. 319—329.

**147.** Инвалид: Литературный сборник. Париж, 1934. С. 16.

**148.** Печатается впервые. Ст-ние написано в альбом Присмановой и Гингера, л. 25. (Текст предоставлен А. Б. Устиновым, подготовившим альбом к печати). О послевоенных вечерах за покером на квартире Гингеров см. в письмах Адамовича Присмановой и Гингеру, а также Бахраху: Письма Георгия Адамовича / Публ. и примеч. В. Крейда // Новый журнал. 1994. № 194. С. 257—319; *Адамович Г.* Одиночество и свобода / Сост., предисл. и примеч. В. Крейда. М., 1996. С. 392—415; Письма Г. В. Адамовича А. В. Бахраху / Публ. Вадима Крейда

и Веры Крейд // Новый журнал. 1999. № 216. С. 98—146; № 217. С. 41—82.

**149.** Собр соч. Стихи. С. 251. Шуточное стихотворение из архива Бахраха (BAR. Coll. Bacherac. Box 1). *Бахрах* Александр Васильевич (1902—1985) — журналист, критик, мемуарист, с мая 1920 г. в эмиграции, жил в Париже, с 1922 в Берлине, секретарь берлинского Клуба писателей (1922—1923), в октябре 1923 г. вернулся в Париж, член Союза русских писателей и журналистов, с 1939 г. доброволец французской армии, в 1940—1944 гг. жил в доме Бунина в Грассе, в 1945—1949 гг. сотрудник газеты «Русские новости», с 1953 г. сотрудник, затем руководитель русского отдела радиостанции «Свобода», после войны один из ближайших друзей Адамовича. *О станции ..* В 1953 году В. В. Вейдле пригласил Бахраха работать в русском отделе радиостанции «Свобода», на что тот после некоторых колебаний согласился и вскоре привлек к сотрудничеству Адамовича. *Червинских шуток...* Поэтессу Лидию Давыдовну Червинскую (1906—1988) Адамович патронировал, долго пытался устроить на работу на радиостанцию «Свобода», что в конце концов удалось. *Хозяйки чистый и лучистый взгляд.* Имеется в виду жена Бахраха (с 1952 года) фру Кирсти (Kirsty). *Kufoleiner Platz.* По этому адресу находилась квартира Бахраха в Мюнхене во время его работы на радиостанции «Свобода». *...«нет в мире лучше края»* — из комедии Грибоедова «Горе от ума».

**150.** Опыты. 1953. № 2. С. 6. Перепечатывалось: Ковчег. С. 37—38. 10 мая 1953 года Адамович прислал в письме Л. Д. Червинской (BAR. Coll. Adamovich. Box 1) автограф этого стихотворения с разночтениями — 1—2 строки: «Остров-то дальше, чем нам показалось. Осень пришла и развеяла снег», 4 строка: «Лишь очертаньем обещанных нег», 8 строка: «Воспоминание — к ниточке

нить», 10 строка: «В памяти только, совсем далеко», 15 строка: «С неба снежинки... как острая жалость».

**151.** Опыты. 1953. № 2. С. 6—7. Перепечатывалось: Ковчег. С. 38.

**152.** Литературный современник. Мюнхен, 1954. <№ 4>. С. 48. Публикация стихотворения удивила И. Одоевцеву, сообщившую об этом автору. 3 августа 1955 года Адамович отвечал ей: «Что это Вы, Мадам, пишете мне о своем удивлении по поводу моего стишка в "Лит. совр."? Этому стишку почти столько же лет, сколько мне, и стоит ли о нем говорить? Я его послал, чтобы отделаться, а впрочем — жалею» (Эпизод сокрокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г. Адамовича И. Одоевцевой и Г. Иванову (1955—1958) / Публ. О. А. Коростелева // Минувшее: Исторический альманах. 21. СПб.: Atheneum-Феникс, 1997. С. 412—413). Однако через 15 лет вторая строфа (с заменой лишь одного слова) была целиком воспроизведена в другом столь же коротком стихотворении (*см.* № 162). Это единственный случай дословного воспроизведения целой строфы в разных стихотворениях. Чем оно обусловлено, сказать трудно, возможно Адамович действительно в обоих случаях по просьбе редакций дал стихи в не очень существенные для него издания, «чтобы отделаться». *Пора смириться, сэр...* — из стихотворения Блока «Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный...» (1912). У Блока: сор.

**153—154.** НЖ. 1965. № 80. С. 30.

**155.** Содружество. Вашингтон, 1966. С. 13.

**156.** Содружество. Вашингтон, 1966. С. 14.

**157—161.** НЖ. 1969. № 94. С. 42—44. Перепечатывалось: Ковчег. С. 41—42. №№ 156—157 также перепечатывались: Даугава. 1988. № 1. С. 114. *«Пора, мой друг, пора...»* — заглавная строка стихотворения Пушкина (1834).

**162.** НЖ. 1969. № 96. С. 74. Перепечатывалось: Ковчег С. 42; Человек. 1992. № 6. С. 187.

**163.** РМ. 1970. 26 февраля. № 2779. Приложение. С. II. *См.* также прим. к № 151.

**164.** НЖ. 1971. № 102. С. 6. Перепечатывалось: Ковчег. С. 43. *«Смерть и время царят на земле»* — из стихотворения Вл. Соловьева «Бедный друг, истомил тебя путь...» (1887).

**165.** НЖ. 1971. № 102. С. 6. Перепечатывалось: Даугава. 1988. № 1. С. 113; Сгоревшая жутко и странно Российского неба звезда... М., 1990. С. 63; Ковчег. С. 43. 14 сентября 1976 года И. Одоевцева писала Г. Струве: «А это Вам, в виде литературоведческого подарка — Адамович написал "Поговорить бы хоть тебе, Марина!.." в конце 1970 года и тогда же прочел мне. Я, со своей непреодолимой страстью к исправлению чужих и своих стихов, посоветовала ему заменить "голос соловьиный", как у него было, "голосом лебединым", с чем он согласился. Но вторую мою поправку: вместо "Откуда никому — путей назад" — "Откуда нет путей назад", он отверг. Об этом он мне тогда же "для будущего" написал из Ниццы, куда уезжал на Рождество: "Соловьиный голос" принадлежит Ирине Одоевцевой, а «Откуда никому — путей назад» остается, как было» (Gleb Struve Papers. Box 111—3. Hoover Institution Archives. Stanford University. Palo Alto. USA).

**166.** НЖ. 1972. № 108. С. 158. Перепечатывалось: *Одоевцева И.* На берегах Сены. Вашингтон, 1983; Звезда. 1988. № 9. С. 128; *Одоевцева И.* На берегах Сены. М., 1989. С. 127. По словам опубликовавшей стихотворение Одоевцевой, Адамович сопроводил «Мадригал...» букетом роз и комментарием: «Это, конечно, не Бог весть что, но от лучших чувств. И правда, я ночью в Ницце думал о Вас, как все у Вас случилось в прошлом и насто-

ящем <...> обнимаю Вас, шлю всякие пожелания и очень хотел бы знать, что все у Вас хорошо. Как Несчастливцев говорит Счастливцеву. “Ты, да я, кто же еще?” Это во всех смыслах» (НЖ. 1972. № 108. С. 158).

## *ПЕРЕВОДЫ*

Переводческая деятельность Адамовича началась еще в Петербурге, он принимал участие в коллективном переводе Эредиа, над которым работала студия М. Л. Лозинского, много переводил для издательства «Всемирная литература» (часто вместе с Георгием Ивановым и Гумилевым). Продолжал заниматься переводами и в эмиграции, особенно часто в первые годы после отъезда. Самым замеченным оказался совместный их с Георгием Ивановым перевод «Анабазиса» Сен-Жон Перса (этому переводу повезло больше других — он несколько раз переиздавался, как в эмиграции, так и недавно в России).

Французский язык для Адамовича был практически родным (в семье говорили равно на русском и французском). Английский он знал гораздо хуже. Георгий Иванов, завидуя умению своего бывшего друга, писал В. Маркову, что «ведь вот и тут устроился профессором в Манчестере <...> а по-английски едва-едва плетет лапти» (Georgij Ivanov / Irina Odojevceva. Briefe an Vladimir Markov 1955—1958 / Mit einer Einleitung herausgegeben von Hans Rothe. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 1994. Bd. 46). Адамович и впрямь нередко испытывал затруднения, пытаясь объяснить своим студентам какие-либо высокие материи, и когда ему не хватало слов, переходил на французский. Сам Георгий Иванов, по свидетельству Одоевцевой, тоже «конечно, английского не знал, все по подстрочнику делал» (*Одоевцева И.* Избранное. М.: Согласие, 1998. С. 20). У

акмеистов вообще английский большим успехом не пользовался. Ни Гумилев, ни Мандельштам толком его так и не выучили, а Ахматова, взявшись как-то на склоне лет прочитать что-то по-английски сэру Исайе Берлину, привела его в изумление своим произношением. Переводили, тем не менее, с подстрочника все, а Адамовичу в послевоенные годы случалось и публиковать статьи на английском языке.

Несмотря на приличные первоисточники, свидетельствующие об отменном вкусе, Адамовича нельзя назвать безукоризненным и даже значительным переводчиком. Хотя Одоевцева и считала, что «Адамович хорошо переводил» (*Одоевцева И.* Избранное. М.: Согласие, 1998. С. 20), лишь отдельные строчки его переводов удачны, в остальном это откровенная халтура. Да он и сам не скрывал этого. Из воспоминаний и переписки хорошо видно, что Адамович, как и большинство его приятелей, ни в России, ни в эмиграции не считали этот вид литературной деятельности имеющим самостоятельное значение. «Переводами в те голодные годы кормились решительно все поэты» (*Иванов Г* Ответ гг. Струве и Филиппову // НЖ. 1956. № 45. С. 302). При этом «к переводам никто не относился серьезно; это халтура, легкий способ заработать деньги» (*Одоевцева И.* На берегах Невы. Вашингтон, 1967. С. 261). Тем не менее это тоже страница истории русской литературы.

В настоящий том вошли лишь некоторые из переводов Адамовича. За пределами издания остались коллективные и большие по объему работы:

*Байрон. «Странствования Чайльд-Гарольда».* В РГАЛИ, в фонде издательства «Академия» (Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 327) хранится рукопись перевода с редакционной правкой Н. Гумилева.

*Байрон. «Дон-Жуан».* В РГАЛИ, в фонде издательства «Академия» (Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 342) хра-

нится рукопись перевода 1—3 песни с редакционной правкой Н. Гумилева.

Анализ в сравнении с особенностями перевода Гумилева и Георгия Иванова *см.*: *Гаспаров М. Л.* Неизвестные русские переводы байроновского «Дон-Жуана» // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1988. Т. 47. № 4. С. 359—367.

*Вольтер.* Орлеанская девственница. Поэма в двадцати одной песни / Пер. Г. Адамовича, Н. Гумилева, Г. Иванова под ред. М. Лозинского. М.; Л.: Всемирная литература, Госиздат, 1924.

Георгий Иванов в письме Маркову в декабре 1955 года писал, что когда Гумилев «отдавал мне и Адамовичу перевод "Девственницы", он говорил: "От сердца отрываю эту душку, никогда бы не отдал, все бы сам перевел, да времени нет". Перевод этот требовался Горьким срочно — мы и перевели его в два месяца и довольно блестяще» (Georgij Ivanov / Irina Odojevceva. Briefe an Vladimir Markov 1955—1958 / Mit einer Einleitung herausgegeben von Hans Rothe. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 1994. Bd. 7).

Перевод высоко оценил Б. Томашевский: «Перевод "Девственницы" запоздал на 150 лет, но в данном случае — лучше поздно, чем никогда <...> Выполнен он чрезвычайно тщательно, с попыткой соблюсти детали подлинника, напр., его рифмовку» (Русский современник. 1924. № 4. С. 266—267. Подп.: Б. Т.), а также В. Вейдле (Звено. 1925. 20 апреля. № 116. С. 4. Подп.: W).

## *Томас Мур*

**167.** Константа: Российская газета свободной творческой ассоциации. 1996. № 9—13. С. 1—6.

Перевод третьей из четырех вставных поэм, включенных Томасом Муром (1779—1852) в роман в стихах и прозе «Лалла Рук» (1812—1817), выполнен Адамовичем для издательства «Всемирная литература» в 1918—1920 годах и отредактирован Н. Гумилевым, но в то время напечатан не был. Машинопись с рукописной правкой Адамовича и Гумилева впервые опубликована Е. Витковским в 1996 году.

### *Жозе Мариа де Эредиа*

**168.** В кн.: *Эредиа Жозе Мариа де.* Трофеи. М.: Наука, 1973. С. 41. (Литературные памятники). Коллективный перевод «Трофеев» Эредиа осуществлялся семинарием под руководством М. Л. Лозинского. Членами семинария по стихотворному переводу при Литературной студии (1919—1923) были Галина Васильевна Рубцова (1898—1976), Татьяна Михайловна Владимирова, Мария Никитична Рыжкина (Петерсен; 1898—1984), Раиса Ноевна Блох (1899—1943), Екатерина Романовна Малкина (1899—1945), Ада Ивановна Оношкович-Яцына (1896—1935) и Михаил Дмитриевич Бронников (1896—1941/1942). Помимо студийцев, в коллективном переводе принимали участие также Н. Гумилев, Г. Иванов, Г. Адамович, К. Липскеров, А. Пиотровский, О. Брошниовская, А. Курошева, В. Лейкина и Н. Сурина. Перевод в то время не увидел света, будучи «запрещен, так как уже вышел в Госиздате в переводе Глушкова» (*Оношкович-Яцына А. И.* Дневник 1919—1927 / Публ. Н. К. Телетовой // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 13. М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1993. С. 429). Узнав об этом, Адамович писал в «Откликах»: «Из России получены в Париже "Трофеи" Эредиа в русском переводе. Мы почти не сомневались, что перевод этот принадлежит М. Ло-

зинскому. С крайним удивлением мы прочли на обложке другое имя. Итак, существует два полных русских перевода “Трофеев”, — редкая в нашей литературе роскошь! Изданный сейчас в России перевод не может идти ни в какое сравнение с еще мало кому известным переводом М. Лозинского. Почему было дано ему предпочтение — понять трудно. Причины этого предпочтения едва ли литературного порядка. М. Лозинский перевел многие сонеты Эредиа единолично, другие — в сотрудничестве со своими слушателями в студии петербургского “Дома искусств”. Некоторые его переводы удивительны по точности передачи текста, по звону, пышности, блеску, напоминающим блистательный оригинал. Покойный Н. С. Гумилев считал эти стихотворения лучшими образцами русской переводной литературы. Едва ли он ошибался. Во всяком случае, никогда Брюсов — крупнейший мастер перевода — не достигал подобного совершенства. Будет ли когда-нибудь издан этот “классический” перевод? На доход с издания его рассчитывать трудно. Придется, вероятно, Лозинскому подождать появления на Руси новых меценатов» (Звено. 1925. 30 ноября. № 148. С. 4. Подп.: Сизиф). Адамович не вполне точен, издание 1925 года не являлось полным переводом «Трофеев»: *Эредиа Хозе Мария де.* Трофеи / Перевод Д. И. Глушкова (Д. Олерона), предисл. Б. Л<ившица>. Л.: Госиздат, 1925. Перевод студии М. Л. Лозинского был опубликован лишь спустя полвека в серии «Литературные памятники»: *Эредиа Жозе Мария де.* Трофеи. М.: Наука, 1973.

### *Роберт Саути*

**169.** В кн.: *Саути Роберт.* Баллады / Переводы под редакцией и с предисловием Н. Гумилева. Пб.: Государственное издательство, 1922. С. 72—75. (Всемирная литература. Вып. 50).

*Шарль Бодлер*

**170.** Звено. 1923. 9 июля. № 23. С. 2.

*Жан Кокто*

**171.** Звено. 1924. 7 января. № 49. С. 2.
**172.** Звено. 1924. 28 января. № 52. С. 2.

*Наполеон I*

**173.** Звено. 1925. 26 января. № 104. С. 3. Подп.: Г. А.

*Рильке*

**174.** Звено. 1925. 29 июня. № 126. С. 2. Подп.: Г. А.

*Сен-Жон Перс*

**175.** Отдельным изданием: *Сен-Жон Перс.* Анабазис / Пер. Г. Адамовича и Г. Иванова. Париж: Изд-во Поволоцкого, 1926. — 63 с. Книга предварялась «Предисловием» Валери Ларбо и «Предисловием переводчиков», которое ниже воспроизводится целиком: «Переводя "Анабазис", мы прежде всего стремились передать с дословной точностью французский текст. Но не всегда это было возможно. В "Анабазисе" строки и страницы прозаические перемежаются с правильными александрийскими стихами и со строками, в которых отчетливо слышится ритмическое построение. Мы старались сохранить это и в русском переводе. По Жуковскому, мы хотели быть не "рабами", а "соперниками". Но вводя стихи в перевод, мы иногда принуждены были жертвовать дословностью. Внимательный читатель заметит, что эти

редкие и незначительные жертвы оправданы звуковой близостью к оригиналу». После войны Николай Татищев вспоминал: «В 20-х годах тон здешней литературы задавали Поль Валери и Перс, автор "Анабазиса", тогда же переведенного на русский язык Г. Адамовичем и Г. Ивановым» (*Татищев Н.* Среди книг // Опыты. 1956. № 7. С. 72). Прочитав это, Адамович язвительно написал Одоевцевой 17 июня 1956 года: «Самое лучшее — скажите Жоржу! — что Татищев написал, что русская поэзия началась с нашего перевода С.-Ж. Перса! А мы и не знали!» (Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г. Адамовича И. Одоевцевой и Г. Иванову (1955—1958) / Публ. О. А. Коростелева // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 21. СПб.: Atheneum: Феникс, 1997. С. 429). Через несколько лет фрагменты «Анабазиса» были републикованы в эмигрантской печати (Мосты. 1961. № 8. С. 113—119). 29 января 1962 года Адамович писал Александру Бахраху по поводу переиздания собственного перевода: «Бербериха настаивала будто бы, чтобы печатали Перса полностью, а я хотел бы знать, кто этот опус прочел, и в силах был прочесть хотя бы в отрывках! Вот тема: "о жульничестве новой поэзии"» (BAR. Coll. Bacherac. Box 1). В России перевод был опубликован в книге: *Сен-Жон Перс.* Избранное / Вступ. ст. П. Мореля. М.: Русский путь, 1996. С. 22—64.

### *Алексис Раннит*

**176.** Новый журнал. 1965. № 81. С. 104. Рецензируя очередную книгу «Нового журнала», Ю. Терапиано счел стихотворения Алексиса Раннита «интересными», а перевод Адамовича «мастерским» (РМ. 1966. 12 февраля. № 2425. С. 6).

**177.** Новый журнал. 1965. № 81. С. 104.

**178.** Новый журнал. 1971. № 102. С. 110.

# КРАТКАЯ ХРОНИКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Г. В. АДАМОВИЧА

**1892** — 7 (19) апреля в семье Московского уездного воинского начальника полковника Виктора Михайловича Адамовича и его второй жены Елизаветы Семеновны (урожденной Вейнберг) родился младший ребенок Георгий. Семья — Виктор Михайлович, Елизавета Семеновна, старший сын Владимир (родился 9 декабря 1886), дочери Ольга ( 29 июля 1889) и Татьяна (18 января 1891) — проживала в казенной квартире, предоставленной полковнику Адамовичу в Крутицких казармах.

**1898** — 4 мая полковник В. М. Адамович назначен и. д. начальника Московского военного госпиталя, а 6 декабря произведен в генерал-майоры с утверждением в должности. Семья переезжает в Лефортово, ул. Госпитальная, д. 1 (здание госпиталя).

**1902** — Георгий поступает во 2-ю московскую гимназию.

**1903** — 21 апреля после продолжительной болезни скончался В. М. Адамович. Елизавета Семеновна с детьми переезжает в Петербург и снимает квартиру в Гродненском переулке, д. 3. Владимир, окончив 1-й московский кадетский корпус, становится юнкером Павловского военного училища, Татьяна поступает в Смольный институт, Георгия предполагалось отдать в Царскосельский лицей, но затем было решено ограничиться 1-й петербургской гимназией.

**1910** — Окончив гимназию, поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета.

**1911—1913** — В университете, в «Бродячей собаке» знакомится с Н. Гумилевым, А. Ахматовой, О. Мандельштамом, К. Мочульским и другими петербургскими литераторами и начинает писать стихи, прозу, статьи.

**1913** — 13 октября на лекции К. Чуковского о футуризме в зале Тенишевского училища знакомится с Георгием Ивановым.

**1914** — В начале года «со всем церемониалом принят обоими синдиками, Гумилевым и Городецким, на квартире Городецкого» в Цех поэтов. У Гумилева в это время — продолжительный роман с Татьяной Адамович, которой он посвятил свою книгу «Колчан».

**1915** — 18 февраля в восьмом номере петербургского журнала «Голос жизни», редактировавшегося Д. В. Философовым при участии З. Н. Гиппиус, — первая публикация: рассказ «Веселые кони». Затем регулярно публикует рассказы, стихи, повесть, поэму, статьи в сборниках и альманахах, в журналах «Огонек», «Аполлон», «Новый журнал для всех», «Голос жизни», «Северные записки», в газете «Биржевые ведомости». Постоянно принимает участие в поэтических чтениях, вечерах поэтов и других литературных мероприятиях. В самом конце 1915 года в издательстве «Альциона» выходит из печати первый сборник стихов «Облака», датированный 1916 годом (на большей части тиража издательский знак «Альционы» был заменен маркой издательства «Гиперборей»).

**1916** — 23 января посылает письмо А. Блоку с просьбой высказаться о сборнике стихов «Облака». Блок «ответил довольно много» о том, что нужно «сильнее раскачнуться на качелях жизни».

Летом и осенью совместно с Георгием Ивановым пытается возродить Цех поэтов, не возобновлявший свою работу с лета 1914 года, после того как Н. Гумилев ушел на фронт добровольцем.

20 сентября, на квартире Адамовича (ул. Верейская, д 11, кв. 2), состоялось первое, не слишком удачное, собрание Второго Цеха поэтов. Осенью и зимой Цех собирался еще несколько раз.

**1917** — Оканчивает университет, принимает участие в литературных мероприятиях Петербурга.

Осенью Второй Цех поэтов окончательно рассыпался.

**1918** — Принимает деятельное участие в организации литературного кружка «Арзамас», пытаясь привлечь А. Блока, участвует в вечерах поэзии кружка искусства «Арион».

**1919** — Зимой уезжает из холодного и голодного Петрограда и работает учителем в Новоржеве Псковской губернии.

**1919—1921** — Преподает русский язык и историю в I новоржевской советской школе, при всяком удобном случае выбираясь к друзьям в Петроград.

**1921** — Весной возвращается в Петроград и вместе с недавно поженившимися Г. Ивановым и И. Одоевцевой селится в пустой квартире своей тетки — Веры Белэй, вдовы миллионера англичанина (ул. Почтамтская, д. 20, кв. 7). Активно участвует в работе Третьего Цеха поэтов, состоит действительным членом «Дома литераторов», членом литературного отдела «Дома искусств», переводит Вольтера, Бодлера, Эредиа и др. для издательства «Всемирная литература». Печатает стихи и статьи в альманахах Цеха поэтов, в газете «Жизнь искусства».

**1922** — В январе в издательстве «Петрополис» публикует вторую книгу стихов «Чистилище».

**1923** — В самом начале года вслед за своими соратниками по Цеху поэтов Г. Ивановым, Н. Оцупом, И. Одоевцевой уезжает за границу.

23 февраля читает доклад о современной русской поэзии на вечере Цеха поэтов в Берлине, в помещении кафе

«Леон». Принимает участие в четвертом, берлинском альманахе Цеха поэтов и вскоре уезжает в Ниццу, к матери и сестрам, живущим на вилле тетки Адамовича Веры Белэй.

Осенью приезжает в Париж и начинает печататься в еженедельнике «Звено», редактировавшемся М. Винавером и М. Кантором.

1 ноября принимает участие в первом парижском вечере Цеха поэтов.

**1923—1926** — Публикует ряд статей и стихотворений в «Звене», постоянный участник собраний Цеха поэтов, чаще всего происходивших в кафе «La Bolée».

**1925—1927** — Еженедельно публикует «Литературные беседы» в «Звене», участвует в мероприятиях Союза молодых поэтов и писателей в Париже. Знакомится с И. Буниным, З. Гиппиус и другими писателями эмиграции.

**1926** — Начинается многолетняя литературная полемика с В. Ходасевичем, продлившаяся до 1939 года и ставшая одним из центральных событий литературной жизни эмиграции.

**1927** — Вместе с З. Гиппиус, Д. Мережковским и Г. Ивановым задумывает и организует собрания «Зеленой лампы» в Париже, на которых часто выступает в прениях или с докладами, заслужив прозвище «златоуста эмиграции».

5 февраля — первое собрание «Зеленой лампы» в помещении Торгово-Промышленного Союза.

С июля «Звено» превращается из еженедельника в ежемесячный журнал, и хотя Адамович по-прежнему печатается в каждом номере, денег не хватает, приходится искать дополнительный заработок.

Публикует первую большую статью в самом известном журнале эмиграции «Современные записки».

В октябре—декабре печатает несколько статей в газете Керенского «Дни».

1 ноября — открывает цикл лекций и практических занятий по современной русской и современной французской литературе.

**1928** — Первую половину года продолжает сотрудничать в «Звене» и в «Днях», читает лекции о современной литературе, участвует в вечерах «Кочевья» и других литературных мероприятиях русского Парижа.

В марте посвящен в масоны, член ложи «Юпитер» до 1932 года.

В июле «Звено» прекращает выходить, и Адамович начинает печататься в самой известной газете эмиграции «Последние новости», редактировавшейся П. Н. Милюковым.

**1928—1940** — Постоянный литературный обозреватель «Последних новостей».

**1929—1931** — Ведет рубрику «Литературная неделя» в журнале «Иллюстрированная Россия».

**1929** — Вместе с Н. Оцупом, Г. Ивановым, Н. Рейзини и З. Гиппиус создает «журнал молодых» «Числа», участвует в литературных вечерах «Чисел».

**1930** — В феврале под редакцией Н. Оцупа и И. де Манциарли выходит первый номер «Чисел», в котором были опубликованы фрагменты «Комментариев», вызвавшие бурную полемику в эмиграции. В этом же номере была опубликована статья Г. Иванова о творчестве В. Сирина, ставшая одной из причин многолетней литературной войны В. Набокова с Г. Ивановым и Адамовичем.

25 марта выступает на очередном собрании Литературных франко-русских собеседований с вступительным словом на тему: «Творчество и влияние Андрэ Жида». Присутствовавший на собрании Андрэ Жид записал в своем знаменитом «Дневнике»: «Souvenons-nous du nom Georges Adamovitch. Nul n'a parlè de mes livres mieux que lui» («Запомните имя Георгий Адамович. Никто не говорил о моих книгах лучше, чем он» — Oeuvres complètes

d'Andrè Gide. — V. XV. Journal. P. 287). Текст выступления Адамовича опубликован в «Cahiers de la Quinzaine» от 5 апреля 1930 г.

**1934** — В январе—июне совместно с М. Кантором редактирует основанный ими журнал «Встречи».

**1935** — В конце года выходит антология эмигрантской поэзии «Якорь», составлявшаяся Адамовичем и М. Кантором во второй половине 1934—первой половине 1935 гг.

**1937** — В январе возобновляет членство в масонской ложе «Юпитер», к концу года радиирован повторно.

**1937—1938** — Входит в созданное И. И. Бунаковым-Фондаминским объединение «Круг», печатается в издаваемых объединением одноименных альманахах.

**1939** — В феврале в серии «Русские поэты» (издательство «Дом книги») публикует третий сборник стихов «На Западе».

Участвует в редактировавшемся З. Н. Гиппиус «свободном сборнике» «Литературный смотр».

В «Последних новостях» печатает несколько политических статей откровенно советофильского характера, ссорится с Г. Ивановым.

В сентябре, сразу же после обращения Эдуарда Даладье к французскому народу, записывается добровольцем во французскую армию. Службу проводит в лагере Septfonds на юге Франции, под Монтобаном.

**1940** — В сентябре, так и не успев повоевать из-за молниеносного завершения «странной войны», демобилизуется и возвращается в Ниццу в большой депрессии.

**1940—1945** — Живет в Ницце, нигде не печатается из-за закрытия русской прессы, нуждается. Общается с И. Буниным, Л. Зуровым, А. Бахрахом, Я. Полонским, Л. Сабанеевым.

**1945** — Возвращается в Париж и начинает печататься в редактируемой А. Ф. Ступницким газете просоветского направления «Русские новости».

В сентябре последний раз посещает З. Н. Гиппиус незадолго до ее смерти.

**1945—1949** — Постоянный литературный критик «Русских новостей». Одновременно печатается в нью-йоркском журнале «Новоселье», редактируемом С. Прегель, парижских альманахах «Встреча», «Русский сборник», «Орион».

**1947** — Печатает публицистическую книгу на французском языке о военном времени: «L'autre Patrie» (Paris: Egloff, 1947).

**1949** — В феврале возобновляет чтение цикла лекций о современной французской литературе.

**1950** — возвращается в масонскую ложу «Юпитер», вскоре присоединен и к ложе «Лотос».

**1950—1972** — Периодически публикует статьи в нью-йоркской газете «Новое русское слово». Одновременно печатается в лучших эмигрантских изданиях того времени: «Опытах», «Новом журнале», альманахах «Мосты», «Воздушные пути» и др.

**1951** — По рекомендации Б. И. Элькина получает место преподавателя русского языка и литературы в Манчестерском университете.

**1951—1960** — Лектор Манчестерского университета.

**1954** — Налаживает «худой мир» с Г. Ивановым и возобновляет переписку.

**1955** — В нью-йоркском издательстве имени Чехова публикует книгу об эмигрантской литературе «Одиночество и свобода».

**1956—1972** — Печатается в парижской газете «Русская мысль».

**1959** — На правах рукописи публикует жизнеописание «Василий Алексеевич Маклаков» (Париж: Изд. друзей В. А. Маклакова, 1959).

**1960** — летом в Париже и Ницце дает ряд интервью Юрию Иваску, получившему грант для работы над проектом по акмеизму.

3 декабря выступает на собрании в Париже с речью о Л. Толстом, которая вскоре была опубликована отдельной брошюрой: «Л. Н. Толстой» (Париж: Изд. В. Вырубова, 1960).

**1961** — Публикует брошюру «Вклад русской эмиграции в мировую культуру» (Париж: Изд. В. Вырубова, 1961)

**1961—1967** — Пишет скрипты и время от времени выступает на радио «Свобода».

**1964** — В октябре переносит первый сердечный приступ.

**1965** — В группе «диссидентов» выходит из масонской ложи.

**1967** — Публикует отдельной брошюрой избранные тексты собственных выступлений на радиостанции «Свобода»: «О книгах и авторах. Заметки из литературного дневника» (Париж, 1967).

Печатает две свои главные книги, своего рода литературное завещание: сборник стихов «Единство. Стихи разных лет» (Нью-Йорк: Русская книга, 1967) и книгу избранных эссе «Комментарии» (Вашингтон: Изд. Камкина, 1967).

Американский славист Roger Hagglund защищает докторскую диссертацию об Адамовиче-критике: «A Study of the Literary Criticism of G. V. Adamovic» (Seattle: University of Washington, 1967).

**1970** — Radio-Diffusion Française снимает фильм об Адамовиче для серии «Архивы XX века».

**1971** — В ноябре—декабре посещает США, выступая перед университетскими аудиториями в Нью-Йорке, Кембридже, Нью-Хэйвене и Вашингтоне.

**1972** — 5 января вылетает из Нью-Йорка в Париж.

В конце января уезжает в Ниццу, намереваясь вернуться в Париж к 1 марта.

21 февраля в Ницце скончался от второго сердечного приступа и похоронен на местном русском кладбище.

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ*



*Приведены также первоначальные варианты заглавий и первых строк, впоследствии отброшенные автором. В этих случаях указание «*см*» отсылает к окончательному варианту заглавия.

## *Содержание*



## *ЕДИНСТВО*

## *ДОПОЛНЕНИЯ*

### ОБЛАКА (1916)

**Из сборника**
**«ЧИСТИЛИЩЕ»**
**(1922)**

**Из сборника**
**«НА ЗАПАДЕ»**
**(1939)**

## СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧАВШИЕСЯ В СБОРНИКИ

## *ПЕРЕВОДЫ*

### *Томас Мур*



### *Жозе Мариа де Эредиа*



### *Роберт Саути*

**Г. Адамович**

Полное собрание стихотворений / Сост, подг. текста, вступ статья, примеч О Коростелева — СПб.. Академический проект, Эльм, 2005 — 400 с (Новая Библиотека поэта Малая серия)

ISBN 5-7331-0179-2

В книгу вошли все известные на сегодняшний день произведения стихотворного жанра, а также избранные переводы, принадлежащие перу Георгия Адамовича (1892—1972), крупнейшего критика и поэта русского зарубежья

Адамович попытался синтетически объединить в своем творчестве лучшие достижения двух ведущих поэтических систем начала века — акмеизма и символизма «Парижская нота», выпестованная Адамовичем, стала одной из последних значительных литературных школ не только в эмиграции, но и во всей русской поэзии XX века

Художник *В. В. Еремин*
Художественный редактор *В. Г. Бахтин*
Компьютерная верстка *Н. В. Байдакова*
Корректор *Т. В. Губернская*

ЛР №066191 от 27 11 98

Подписано в печать 24 12 2004 Формат 79×90/32
Бумага офсетная Печать офсетная Гарнитура Академическая
Усл п л 20 Уч изд п л 16 Тираж 1000 экз Заказ № 25

Гуманитарное агентство «Академический проект»
191002, Санкт-Петербург, ул Рубинштейна, 26

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „Бионт"»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр ВО , д 86,
тел (812) 322-68-43